

Угорь Тергенрёдер

*Комбинации против
Кода Истории*



12+

Игорь Гергенрёдер

Комбинации против Хода Истории

«ЛитРес: Самиздат»

1998

Гергенрёдер И. А.

Комбинации против Хода Истории / И. А. Гергенрёдер —
«ЛитРес: Самиздат», 1998

Повести, которые образовали сборник, написаны по воспоминаниям об устных рассказах отца автора, участника Белого движения, которого звали Алексей Филиппович Гергенрёдер. Летом 1918 года он, пятнадцатилетний учащийся реального училища, вслед за двумя старшими братьями, вступил в Сызрани в Народную Армию КОМУЧа, антибольшевистского правительства в Самаре, был дважды ранен, участвовал в Великом Сибирском Ледяном походе 1919-20 годов. На станции Иннокентьевская под Иркутском, заболевший тифом, попал в плен к красным, отсидел в Иркутской тюрьме. На обложке: фотография старого Кузнецка. Создатель обложки - художница Александра Ульрих.

© Гергенрёдер И. А., 1998

© ЛитРес: Самиздат, 1998

Содержание

Предисловие	5
Грозная птица галка	8
Рыбарь	27
1	27
2	29
3	31
4	33
5	35
6	37
7	38
8	42
9	45
10	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Предисловие

Я родился в сентябре 1952 в семье русских немцев, в городе Бугуруслане Оренбургской области РСФСР – месте депортации, по причине национальности, моих родителей.

Мой отец Алексей Филиппович Гергенредер к тому времени немало повидал. Летом 1918 он вслед за двумя старшими братьями вступил в Сызрани в Народную Армию КОМУЧа (Комитета членов Учредительного Собрания), образованного в Самаре антибольшевицкого правительства, стал рядовым 5-го Сызранского полка 2-й Сызранской стрелковой дивизии. До шестнадцати лет ему оставалось около полугода.

Он прошёл тяжёлый путь отступления от Волги до Ангары, побывал в боях под Оренбургом в январе и в апреле-мае 1919, в сражении на реке Тобол в сентябре того же года. Дважды был ранен.

В столице колчаковской Сибири Омске его после второго ранения и перенесённого тифа освободили от службы на полгода, и тут судьба послала ему возможность уехать в Америку. Но он ею не воспользовался, а возвратился на фронт в свою отступавшую часть, которая вскоре оказалась под командованием генерала Владимира Оскаровича Каппеля.

За Каппелем шли самые стойкие, совершая Великий Сибирский Ледяной поход 1919–20 годов. Красные были не только за спиной, но и впереди. Лютовали сибирские морозы, свирепствовал тиф – Каппель обморозил ноги, заболел воспалением лёгких и умер в этом страшном походе. Отец и другие солдаты слышали, что несколько дней добровольцы, сменяясь, несли на носилках впереди колонны замёрзшее тело Каппеля.

На станции Иннокентьевская под Иркутском отца свалил возвратный тиф, везти больного было не на чем. Оставленный на вокзале, лёжа на полу с мёртвыми и полумёртвыми, он попал в плен к красным. Они не узнали, что он был добровольцем, и поэтому отделался он легко: отсидел в Иркутской тюрьме. Из Сибири уехал не в родной Кузнецк, а под Брянск в посёлок Бежица, где на паровозостроительном заводе работал инженером-технологом самый старший брат Владимир, который не участвовал в Гражданской войне. В Бежице никому, кроме него, не было известно, что мой отец был добровольцем у белых. Паспортную систему в то время ещё не успели создать, и прошлое удалось скрыть.

Работая на заводе мастером по холодной обработке металлов резанием, отец заочно окончил Литературный институт Союза Советских Писателей в Москве, печатался в «Орловском альманахе». С началом войны был по Указу от 28 августа 1941 выселен, а затем направлен в Трудармию в город Бугуруслан, провёл пять лет за колючей проволокой лагеря. После войны заочно окончив пединститут в Чкалове (Оренбурге), отец преподавал в бугурусланской школе № 12 русский язык и литературу. Никто вокруг не знал, что трудармейский лагерь был не первым его местом заключения. Не знали и того, что много лет назад он воевал в Оренбуржье за идеалы Белой России.

Отцу было сорок девять, когда родился я. Мне исполнилось двенадцать, когда он взял с меня слово хранить строжайшее молчание о том, что мне будет рассказано, и напомнил о кинофильме «Чапаев», в котором меня впечатляло зрелище «психической атаки». Красиво шли густые, сплошь офицерские, цепи... Отец остро, внимательно посмотрел на меня своими глубоко сидящими глазами, помолчал, а затем я услышал:

«Офицеры, говоришь... Их аксельбанты тебе тоже понравились?»

Мне живо вспомнились шнуры, свисающие с погон, и я подтвердил: конечно, понравились, почему же нет?

Так вот, объяснил отец, аксельбанты носил только флигель-адъютант – офицер связи: один на полк. Как же это удалось собрать тысячи флигель-адъютантов? И почему исключительно они должны были идти в «психическую атаку»?

Я узнал, как не хватало Колчаку офицеров для командирских должностей: какая уж там отдельная офицерская часть. Ничего подобного «психической атаке» и в помине не было. Дмитрий Фурманов в своей книге «Чапаев» о ней ничего не пишет.

Отец коснулся другого историко-героического фильма. «Эпохальную» киноленту «Броненосец «Потёмкин» я к тому времени посмотрел не однажды. Там толпу обречённых на расстрел матросов накрывают брезентом. Это глупость. Такое немыслимо в практике экзекуций – накрывать брезентом осуждённых, да ещё согнанных в гурт.

Когда все вокруг питались этой брехнёй, восторгались ею, я слушал рассказы отца о его жизни... Мне, единственному сыну, он открывал пережитое ярко, зримо – память у него была превосходная, он помнил имена, фамилии почти всех действующих лиц. И рассказчиком был отменным.

Год за годом я сживался с его рассказами – пройденное им стало как бы и моим прошлым. Готовя уроки на завтра, я предвкушал за этим нудным занятием, как, улёгшись в кровать, буду, пока не усну, воображать себя белым добровольцем, сжимающим в руках драгунскую трёхлинейку или американскую винтовку «винчестер», выпускавшуюся под русский патрон, или японский карабин «арисака». И то, и другое, и третье отец описывал мне до мелких деталей. В своё время он был любителем и знатоком оружия. Даже и при мне ещё у нас имелась коллекция – не совсем оружия: приличный набор складных ножей (отец держался безупречных отношений с законом).

Из его рассказов об оружии я запомнил такие подробности, какие вряд ли отыщутся в справочниках. Например, то, что приклады русских трёхлинейных винтовок были из орехового дерева, а у драгунской модели имелась вокруг дула медная шайба. Что пулемёты «максимы» были зелёные, а пулемёты «кольты» – чёрные. Что сабля на поясной портуpee вызывала к офицеру большее уважение, чем шашка на перевязи – пусть и в узорных ножнах.

Добровольцы Народной Армии КОМУЧа носили заячьи шапки с длинными ушами, на концах у которых были пуховые шарики (в советское время шапки такого типа, но вязаные, носили дети).

Англия поставляла в армию Колчака полупальто на меху кенгуру, изготавливаемые в Австралии. Доставались они счастливым из высших офицеров – в основном же, оказывались в руках тыловых спекулянтов.

До колчаковских солдат, обычно полуголодных, изредка доходила американская треска; твёрдая, как сухое дерево, она не портилась ни в жару, ни в сырую погоду. Когда небольшой кусок трески, подержав в кипятке, варили с пшёнкой, получалось изумительно ароматное, вкусное и сытное кушанье.

Отец рассказывал и о том, что он узнал в отрочестве в так называемом высшем начальном училище (оно было четырёхклассным) и в реальном училище, передавал то, что слышал от родителей и от старших братьев. Рассказывал об увиденном в той – прежней – России. Пятнадцать лет его жизни прошло в ней. Мать прожила в ней восемь лет, а моя бабушка (по матери), жившая с нами, – тридцать.

Я рос, я воспитывался на разговорах, на рассуждениях о тогдашней действительности. Вот пример, насколько она была «реальной» в нашей семье. Когда я уезжал в Казань поступать в университет и бабушка паковала многочисленные припасы, у неё сорвалось: «Ничего – до поезда мы тебя проводим, а в Казани возьмишь извозчика». Год был 1971-й.

В молодости бабушка жила в Камышине: там поездка с багажом на извозчике через город стоила пятнадцать копеек. Много, мало ли это? Писец судебной палаты получал в месяц пятнадцать рублей. В имении наёмным работникам во время уборки, к примеру, сахарной свёклы платили двадцать пять копеек в день.

Билет в театр, в провинции, стоил двадцать копеек, в оперу – на десять копеек дороже.

В ресторане обед с заливной стерлядью и вином обходился в рубль. За три копейки в «обжорке» (примитивной закуской в так называемом «обжорном ряду» на базаре) можно было получить миску щей с щековиной.

На сельскохозяйственной выставке «живой, с рогами, баран» продавался за три рубля. Воз камышинских арбузов в сезон шёл за пять копеек. Арбузы некуда было девать: из них варили «мёд» и заготавливали его на зиму в бочках.

Что ещё узнавал я дома о той жизни?

По каталогу, прилагавшемуся к газете, можно было выписать револьвер: посылку с ним почтальон доставлял на дом.

В пансионах воспитанниц за перешёптывание на уроках били по рукам буковой линейкой.

Если господин (не юноша) целовал руку девушке, он тем самым предлагал ей физическую близость.

Шампанское «Клико» ударяет «в ноги», поэтому перед танцами его лучше не пить. Если после обеда, на котором подавался раковый суп, вы собираетесь танцевать, то не стоит также пить и красное вино – скорее запыхаетесь.

Один из сортов нюхательного табака назывался «Собрание любви».

Выражение: «Выглядит – хоть в Уфу поезжай!» – говорило, что у персоны, к которой оно относилось, был чахоточный вид (в окрестностях Уфы находились знаменитые кумысолечебницы для больных туберкулёзом).

Когда хотели осадить грубияна, говорили: «Вы что – из барака?»

Ломать сирень и черёмуху считалось неприглядным простонародным обычаем.

Фраза: «Из Камышина на Самару самолётом» – означала не полёт на самолёте, а рейс парходом волжской пароходной компании «Самолёт».

Впитывая всё это, я, например, не разделял упоения моих сверстников футболистами «Торпедо» или куйбышевских «Крыльев Советов». Гораздо интереснее было дома слушать о том, как публика прежней России увлекалась зрелищем борьбы на арене цирка, слушать, как выглядели, сколько весили, кого побеждали борцы Николай Вахтуров, Станислав Збышко-Цыганевич, Георг Гаккеншмидт по прозвищу «Лев» и известный Ванька Каин (не путать с разбойником).

Таким образом, благодаря обстоятельствам, мне достался превосходный материал. Его качество подтверждается (оговорюсь – для меня) фактом: за всю сознательную жизнь в СССР я не встретил ни одного человека, который не верил бы в «психическую атаку» или усомнился бы в упомянутой мною сцене из «Потёмкина».

Грозная птица галка

В середине октября 1918 наша 2-я стрелковая дивизия отступала от Самары к Бузулуку. Было безветренно, грело солнце; идём просёлком, кругом убранные поля, луга со стогами сена, тихо; кажется, и войны нет.

Около полудня наш батальон вошёл в деревню, где мы должны закрепиться. Разбегаемся по дворам с мыслью перекусить; не успел я заскочить в избу, как с улицы закричали:

– Лёнька, к начальнику дивизии!

Розыгрыш. Зачем я, ничем не приметный рядовой, могу понадобиться генералу? Тоже мне, остряки! Однако на улице в самом деле ждал вестовой верхом, держал за повод лошадь для меня. Оторопев, я спросил, для чего вызван?

– Скажут... – не глядя на меня, неохотно бормотнул пожилой вестовой; у него было унылое лицо крестьянина, ожидающего зиму после неурожайного лета.

Штаб дивизии расположился в селе Каменная Сорма, до него вёрст шесть. По дороге я стал думать, что разгадка вызова нашлась. Мой старший брат Павел командует конной дивизионной разведкой. Он похлопотал – и меня берут в разведку? От этой мысли было так радостно, что я суеверно боялся: неудержимая радость всё испортит. И заставлял себя думать о чём-нибудь другом. Например, вот-вот хлынут дожди, а отступление продолжится, и тогда тащиться по просёлкам станет ещё скучнее.

Вестовой направил коня к чисто выбеленному зданию сельской школы. В классной комнате на столе расстелена карта-двухвёрстка. Над ней склонились офицеры штаба. С ними – начальник дивизии генерал-майор Цюматт: русский немец, как и я. Погоны змейками, мундир свободно сидит на сухоньком торсе, белоснежный воротничок перехватывает морщинистую шею. Мне, пятнадцатилетнему, генерал кажется глубоким старцем: даже брови седые. Белые ухоженные усы нацелены вниз, меж стрелками усов розовеет выбритый подбородок.

Вытягиваюсь – руку к козырьку, называю себя. Генерал просит извинения у офицеров и, обращая ко мне, кивает на дверь сбоку:

– Пройдёте в курительную.

Следом за ним выхожу в узкий, ведущий на задний двор коридорчик. Здесь стоит лавка. Цюматт достал портсигар, предложил мне закурить. Благодарю, поясняя, что не курю; на самом деле, когда попадается табак, я покуриваю. Жду, когда же он скажет... Скажет – и моё мучительное волнение взорвётся восторгом.

Он затаился так жадно, что я услышал потрескивание в папиросе. Стоит в облаке дыма; у него встревоженные глаза нервного молодого человека.

– Ваш брат Павел пал за Россию! Пал смертью храбрых!

Зажав папиросу во рту, Цюматт взял меня за руки. Стоим минуту-вторую, третью... он не выпускает мои руки.

– Сядемте, – пригласил сесть с ним на лавку.

* * *

Он объяснил, как Павел и его конные разведчики помогали дивизии. Почему мы отступаем? Потому что наш сосед справа – дивизия чехословаков – всё время отходит, даже не предупреждая нас. Чехословаки не собираются всерьёз воевать с красными, умирать в чужой стране за чужие интересы. Наш фланг то и дело оказывается открытым, и только разведка, нащупывая противника, спасает нас от охвата справа.

Совершая глубокие рейды по территории, занятой противником, разведка определяет плотность его сил. Когда их концентрация на чехословацком участке окажется слабой, генерал перебросит туда полк прикрытия. Остальными силами – при поддержке соседа слева – нанесёт красным неожиданный удар.

– И мы разобьём их без никакой помощи чехословаков! – Цюматт поспешно поднёс папиросу ко рту, костлявая рука дрожит. – Представляете, как я каждый раз ждал возвращения вашего брата?

Попрошался генерал немного картинно:

– Он принадлежал к числу тех офицеров, из которых вырастают крупные военные деятели! Дорогой мой, служите, как ваш брат!

Вестовой проводил меня к разведчикам. Я услышал, как погиб Павка.

Постоянной линии фронта не было, и разведка – тридцать конников – без труда проехала в расположение противника, на ночь остановилась в не занятом им селе Голубовка. На крыше сарая залёг дозорный. Лошадей не расседлали. Один Павел расседлал свою молодую кобылу. Среди ночи дозорный поднял спавших: в Голубовку въезжает какой-то отряд. Стали вскакивать на коней, и тут красные открыли огонь. Отстреливаясь, разведчики вырвались из села. Четверо оказались ранены, и не было Павла.

– Остановились в селе, в десяти верстах от Голубовки, – рассказывал мне узкоглазый молодой человек с реденькими усиками и бородкой. – Днём приехал по своим делам крестьянин из Голубовки. От него узнали...

Павел, седлая кобылу, задержался. Когда поскакал со двора, красные были уже рядом, простреливали улицу продольным огнём. Лошадь под ним убили. Он – в ближние ворота; взобрался на гумно, отстреливался, нескольких нападавших ранил. В него, вероятно, тоже попали. Патроны кончились: спрыгнул с гумна, саблю держит, шатается, а красные – вот они, перед ним. Кричат: «Бросай пашку!» Не бросил, замахивается – его и застрелили.

– Крестьянин уверен, – закончил разведчик, – что кто-то из своих, из голубовских, привёл красных.

* * *

Через несколько дней мы нанесли противнику удар, который планировал генерал Цюматт. Наш полк был заблаговременно перебросен на участок, только что оставленный чехословаками: они, по своему обыкновению, продолжали отходить без боя. Красные, не ожидавшие серьёзного сопротивления, атаковали нас без подготовки, но под огнём залегли. Мы бросились в контратаку. Захватили около сорока пленных, походный лазарет, две двуколки с патронами.

Сутки спустя наш батальон готовился наступать с пологого холма на открывшееся в седловине село. Вечерело. Наполнив патронами боковые подсумки, я набивал брезентовый патронташ, когда раздался конский топот. Возле меня соскочил с лошади узкоглазый разведчик.

– Вот эта самая Голубовка! – он показал на село. – Через час вы в ней будете. Смотрите: церковь, две избы вправо, за ними, подалее – три двора. Там мы ночевали... Узнаете, где Павел... гхм... – разведчик смешался, порывисто бросил:

– Извините!

Я его понял: он не уверен, погребено ли тело Павла.

Он сел подле меня на траву. Помолчав, рассказал: утром они захватили красного – из тех, кто напал на разведчиков в Голубовке. Вот что выяснилось.

Красные в ту ночь стояли в деревне – от Голубовки верстах в четырёх. Их было не больше полуста, и, когда прибежал голубовский пацан: у нас, мол, разведка белых ночует, – командир не решился нападать. Но тут подъехала на телегах рота рабочего полка. И двинулись...

– Мальчишку, конечно, отец послал, – разведчик глянул мне в глаза. – Глупостей не наделайте! А вообще... – с минуту думал. Вдруг у него вырвалось: – Я бы расстрелял!

Сказав, что ему пора, попрощался, вскочил в седло и уехал.

* * *

Мы не оказались в Голубовке ни через час, ни через два. Красные, засев в окопах перед околицей, встречали нас плотным огнём винтовок, и командир полка приказал прекратить лобовые атаки.

Темнело. Мы отошли за холм и встали лагерем. Съев по котелку каши, разожгли костры, уселись вокруг них группками.

Наш батальон в основном состоит из вчерашних реалистов, из гимназистов вроде меня. Прошло немногим больше трёх месяцев, как мы в Сызрани вступили в Народную Армию КОМУЧа¹. Тех, кто побывал на германской войне, среди нас почти нет. Александр Чуносков – один из таких редких людей. Был в войсках, что воевали в Персии с высадившимися там германцами. Ему года двадцать три; рослый, плотный. Ходит, держа винтовку под мышкой. Любит, чтобы его звали Саньком. Он – старший сын богатого крестьянина. Отец послал его в Народную Армию с напутствием: «Жалко, но надо! А то х...ета безлошадная нас уделает».

Санёк нашёл неподалёку болотце и, процедив воду сквозь тряпку, сейчас кипятит её в котелке.

– Лёнька, чай, мыслями в Голубовке, – произносит в раздумье, ни к кому не обращаясь, – казнит братниных убивцев...

Молчу. Думаю о Павке. Думаю – почему я не мучаюсь горем? Когда я услышал о его смерти, я словно бы в это не поверил. Мне тягостно, но боли, ужаса нет. Из-за этого чувствую себя виноватым. Возбуждаю в себе мысли о том, каким хорошим был Павел.

У меня есть ещё два старших брата, сестра. Чем Павел был лучше? Тем, что старше? Тем, что в 1915 ушёл добровольцем на Кавказский фронт, вернулся подпоручиком? В Народной Армии, где крайне не хватало офицеров, его сразу же поставили командовать дивизионной разведкой. И вот в двадцать два года, провоевав три месяца, он погиб.

Обстоятельный Санёк говорит мне с нотками превосходства:

– Генерал тебе потрафил: брата хвалил. Чего его восхвалять? Кругом враг, а он лошадь расседлал – командир! А все так сделай? И накрылась бы разведка. По дури попался орёлик. Любил вы...бнуться! – он с удовольствием выделил матерное слово.

Я понимаю, что он прав. Для меня это – пытка. С дрожью бросаю:

– Ну, чего привязался?

Мой бывший одноклассник Вячка Билетов замечает:

– Павел погиб от предателя.

– А он те на верность клялся никак: мужик, что пацана послал? – с ехидцей поддел Санёк. – Может, он и был за красных? По его понятию – хорошо сделал.

– Значит, Лёнька и отплачивать не должен? – вознегодовал Вячка.

Санёк поставил котелок перед собой на землю, стал размачивать в кипятке сухой хлеб.

– Если не отплачивать, то и воевать не хрен. К тому же, братан – своя кровь. Может, бил ты по башке, жизни не давал: до расчёта это не касаемо. Не рассчитался – не человек.

¹ КОМУЧ – Комитет членов Учредительного Собрания (Прим. автора).

– Ишь, как! – вмешался вчерашний телеграфист Чернобровкин. – А военно-полевой суд на что?

– Прямо у начальства забота теперь – суды собирать!

– А иначе, – не сдался Чернобровкин, – сам под суд попадёшь. Как за грабёж.

– Грабёж – дело другое, хотя и тут: как посмотреть... – Санёк дует на размоченный в кипятке ломоть хлеба. – А у Лёньки – дело без корысти.

* * *

На рассвете мы обошли Голубовку с севера, наткнулись на полевой караул красных. Поднялась стрельба; опасаясь окружения, противник оставил село, и мы вступили в него.

Я и мои друзья искали указанное разведчиком место, где погиб Павел, приблизились к церкви. У одного из дворов стояла нестарая баба в валенках, хотя снег ещё не выпал. Бросилась к нам:

– Солдатики, у нас вашего офицера убили, у гумна! А красным сообщили Шерапенковы-соседи. Они погубили, они! – в притворстве завывая, показывала нам рукой на соседский двор.

– Обожди! – властно обронил Санёк. – Где офицер лежит?

– Схоронен! Мой-то сам и старшенький на кладбище снесли, после батюшка вышел – похоронили...

Она привела нас к могиле на тоскливом, почти без деревьев, кладбище. Я смотрел на свежий холмик земли и вдруг почувствовал: вот тут, неглубоко, лежит Павка. Серо-синий, ужасный, как те трупы, которых я успел наглядеться. Павка – такой ловкий, быстрый в движениях, такой самоуверенный, бесстрашный.

– Крест втыкнуть поспешили, – сказал Санёк.

– Поставим, миненький! – баба стала приглаживать землю на могиле ладонью. – Чай, мы уважаем...

Острейшая жалость к Павке полоснула меня. Из глаз хлынуло. Я услышал исполненный значимости, как у судьбы, голос Санька:

– Ну всё! Снялось с него. А то он был оглоушен. Теперь будет мужик – не пацан.

Баба упала на колени, тычется лицом в землю холмика. Как мне гнусно!

* * *

Шерапенковы нас ждали. В избе чисто, будто в праздник. Топится побелённая на зиму печь. В правом углу – выскобленный ножом свежо желтеющий стол. Над ним – тусклые образа. Свисая с потолка на цепочке, теплится лампадка зелёного стекла. Слева, на лавке у стены, сидят крестьянин, баба и четверо детей. Среди них старшая – девочка, ей лет двенадцать. Цветастая занавеска скрывает заднюю половину избы.

– Извиняйте, что без спроса! – Санёк снял заячью шапку и, придерживая винтовку левой рукой под мышкой, перекрестился на иконы. – Вот он, – указал на меня, – родной брат офицера убитого.

– Так... – крестьянин встал с лавки; волосы густой бороды мелко дрожат.

Дети таращатся на нас в диком ужасе. Младший, лет четырёх, разинул рот, смотрит с невыразимым страхом и в то же время чешет затылок.

Равнодушно, точно по обязанности, Санёк спросил:

– А куда дели сынка, какой призвал красных?

– Лешему он сын – аспид, собака! – вскричала крестьянка. – А на нас нету греха! Поди, угляди за ним, уродом...

Из-за занавески вышел подросток в потрёпанном пиджаке.

– Кому меня надо? – спросил низким, с хрипотцой, голосом мужика.

Я увидел, что «подростку» никак не меньше двадцати пяти.

– Мой меньшой брат, – сказал крестьянин; потоптался, добавил: – Бобыль.

Тот стоял, небрежно расставив ноги в шерстяных носках, одну руку уперев в бок, другой держась за отворот пиджака. Бритое лицо выражало спокойную насмешку.

– Я красных притащил! Так захотел!

В словах столько невообразимой гордости, что Вячка Билетов пробормотал:

– Он в белой горячке...

Санёк, взглядываясь в человека, рассмеялся смехом, от которого любому станет не по себе:

– Смотри-ка, грозная птица галка! Ох, и любишь себя! Спорим: всё одно жизни запро-
сишь?

– Дур-р-рак! – Не передать, с какой надменностью, с каким презрением это было сказано.

Почти неуловимый взмах: Санёк двинул его в ухо. Ноги у человека подсеклись – ударился задом об пол, упал набок. Дети закричали; старшая девочка визжала так, что Чернобровкин с гримасой боли зажал ладонями уши.

* * *

Санёк тронул лежащего носком сапога:

– Поднять, што ль, под белы руки?

Тот встал, одёрнул пиджак, шагнул к двери с выражением поразительного высокомерия – мы невольно расступились. В сенях он с привычной основательностью обул опорки. По двору шёл неспешно, деловито: как хозяин, знающий, куда ему надо. Он словно вёл нас. Завернул за угол сарая, встал спиной к его торцу. Это место не видно ни с улицы, ни из окон избы.

– Ты не думай, что я от страха, – усмешливо глядит мне в глаза, – я не из-за этого говорю... Сожалею я, что отдал твоего брата. Я думал, он дешёвка, а он – не-е... Нисколько не уронил себя!

Санёк хмыкнул.

– Началось! Сожаленье, покаянье. И в ноги повалится. Ох, до чего ж я это не терплю!

– Иди ты на... – хладнокровно выругался маленький человек. – Не с тобой говорят. – Он не отводил от меня странного, какого-то оценивающего взгляда: – Давай, што ль, пуляй!

Я – хотя стараюсь не показывать этого – ошеломлён. Может, он не понимает, что у нас не игра? Шут, идиотик, он думает: всё – понарошке? Хотя какое мне до того дело? Если б не этот замухрышка, Павел был бы сейчас жив-здоров.

Я понимаю, что должен вскинуть винтовку, выстрелить. Но я ещё ни в кого не стрелял в упор.

– Сознаёшься, что сам, по своей воле побежал... выдал... привёл? – держу винтовку у живота, страстно желая, чтобы меня захлестнула злоба.

– Верно балакаешь, – он заносчиво улыбается. – Не угодил мне твой брат! Форсистый, саблей гремит, ходит-пританцовывает, ляжками играет. Ну, думаю, красавчик, как поставят тебя перед дулом, будешь молить...

Меня взяло. Я дослал патрон, упёр приклад в плечо. Сейчас ты отведёшь взгляд. Я увижу ужас. Мгновение, второе... Он негромко смеётся: кажется, без всякого нервного напряжения. Бешенство не даёт выстрелить. Вонзить в него штык – колоть, колоть, чтобы пицал, взвизгивал, выл! Я отчётливо понимаю: если сейчас застрелю его, он, безоружный и смеющийся мне в лицо, останется в выигрыше. Мои друзья будут поговаривать об этом.

– Делай, Лёня! – Санёк легонько шлёпнул меня по спине.

Опускаю винтовку, смятение рвётся из меня неудержимым сумасшедшим смехом:

– Не-ет, я ему, хе-хе-хе, не то... я ему лучше...

Вдруг вспомнился захватывающий роман о покорении французами Алжира. Молодой французский офицер попал в плен к арабам, и они под страхом мучительной смерти заставили его принять ислам, воевать против своих.

– Или он с нами пойдёт... – не могу смотреть на него, отворачиваюсь, – или издырявлю его штыком!

– Он – с нами? – у Вячки Билетова – гримаса, точно он надкусил лимон. Издаёт губами неприличный звук.

– С на-а-ми... – протянул Санёк; ему забавно в высшей степени.

– Мы не можем это решать, – неопределённо сказал Чернобровкин, обратился к виновному: – Вы, конечно, отказываетесь?

* * *

Он безразлично сказал:

– Могу пойти. Но, само собой понятно, не со страху, а от сожаленья. Вина на мне.

– Но вы не подлежите службе! – воскликнул Чернобровкин. – Вы... э-ээ... маленький.

– Я на германской полных три года был!

– В обозе ездовым? – спросил Санёк.

– Правильно мыслишь. Имею два ранения. – Сбросил пиджак на землю, сорвал с себя рубашку, нагнулся. Вся левая сторона спины покрыта застарелыми язвами.

– Шрапнель, – определил Санёк. Раны от шрапнели, бывает, не заживают по многу лет.

– Считаю за одно, а это – второе, – человек распрямился, показал нам на груди ямку от пулевого ранения: пальца на три выше правого соска. – Лёгкое – насквозь.

– А чего... – Санёк остановился на какой-то мысли, – иди, в самом деле, с нами. Интересно будет поглядеть на тя.

– И правда, интересно, – согласился любопытный Вячка. – Звать тебя как?

– Шерапенков, Алексей.

– Ха-ха-ха, Лёнька! – Билетов ликующе, точно он ловко открыл что-то мною скрываемое, обхватил меня за плечи. – Тёзка твой! Вот это да.

Шерапенков пошёл в избу собраться. Через минуту выбежал хозяин, поклонился Саньку, потом – мне.

– Благодарствуем! Вы не сумлевайтесь, он воевать будет, хотя и мозгляк. А убивать его – чего... Ой, занозистый, ирод, а жалко...

Повёл нас в сарай, нырнул в погреб. Мы получили два десятка яиц и шмат сала фунта на полтора.

* * *

Шерапенков вышел в шинели, в сапогах. И то, и другое ему велико. Несуразно огромной выгладит на нём баранья папаха. Вячка отвернулся, чтобы скрыть смех. А Санёк с самым серьёзным видом похвалил:

– Гляди, а военное-то как ему к лицу! – незаметно подмигнул мне.

Я увидел угрюмую злобу Шерапенкова. Пришла мысль: «Вероятно, при первом же удобном случае он постарается убить Чуносова... или меня... Ох, и следить я буду за тобой! – как бы предупредил я его. – Убью, лишь только что замечу!»

Мы пошли к ротному командиру, уговорившись, чтоб не возникло затруднений, не открывать ему суть дела.

Ротным у нас прапорщик Сохатский, бывший до германской войны банковским служащим. Попив чаю в доме священника, он как раз спускался с крыльца, когда подошли мы.

Чуносков поставил впереди себя Шерапенкова. Тот вместе с папашой – ему по подбородок.

– Малый с этого села, всю германскую прошёл ездовым. Проситесь к нам в роту.

– Где служил? – спросил Сохатский.

Шерапенков ответил, что в 42-м Самарском пехотном полку. Оказалось, полк входил в корпус, в котором воевал Сохатский.

– Отчего надумал с красными драться?

– Должен, господин прапорщик! – твёрдо сказал, как отрезал, Алексей.

– У него красные невесту снасильничали, – с выражением сострадания объяснил Санёк, – она с горя удавилась. Он и рвётся мстить.

Шерапенков обернулся: я думал, он подпрыгнет и вцепится лгуну в горло. Было слышно, как у разъярённого человека скрипят зубы. Сохатский смотрел с изумлением. Решил, что Алексея раздирает ненависть к красным.

– Что ж, раз есть желание честно воевать – зачислим. Но предупреждаю: чтоб никаких измывательств над пленными!

* * *

В тот день основные силы дивизии стремились опрокинуть противника на линии: село Хвостово – хутор Боровский. Выйдя из Голубовки, мы получили приказ обеспечить правый фланг наступающих. В то время как полк наступал на северо-запад, на хутор Боровский, наша рота отклонилась на две версты вправо и развернулась фронтом на север.

Было три часа пополудни, погода ясная. Вдали на равнине перед нами видна деревня Кирюшкино. Вдруг из неё поползло скопление людей. Скоро донеслись звуки пения.

– Стеной прут, – с мрачной напряжённостью сказал Мазуркевич, ученик фотографа из Сызрани. – Значит, резервов у них... до чёртовой бабушки!

Красные шли плечом к плечу, сплошным массивом. Если командиры даже не считают нужным растянуть их в цепи, сколько же сил в их распоряжении?..

В рядах противника раздаются выстрелы, стали посвистывать пули... В нашей цепочке не наберётся и ста штыков, а на нас шагают четыреста? Пятьсот? Тысяча солдат?

Окапываться мы только начали. И хоть бы был пулемёт! Сейчас они рассредоточатся, легко окружают нас на ровном пространстве и задавят. Уже можно разобрать, что они поют: «Вихри враждебные веют над нами...»

Сохатский во весь рост прошёл перед цепью, бодрясь, прокричал:

– Ну, молодцы, дадим залп и в штыки, – покажем подлому врагу, как нужно умирать!

Шерапенков встал с земли.

– Чего умирать-то? – крикнул с издёвкой. Если б не обстановка, показалось бы: безобразничает какой-то наглец в форме солдата. – Это ж рабочие из Самары, два дня винтовка в руках, – кричал он с презрением (с презрением не только к рабочим, но и к ротному командиру). – Какой им: по местности двигаться? Они команд не понимают. Видите: на ходу стрелять учатся...

Сохатский вытаращился на него, затем повернулся к неприятелю, прижал бинокль к глазам, взгляделся. По цепи меж тем побежало оживление: вспомнилось, какими беспомощными были мы сами три месяца назад. Правда, в отличие от этих громко поющих людей, мы обожали оружие, умели стрелять: почти каждый дома имел охотничье ружье или малокалиберную винтовку «монтекристо».

Позади нас, параллельно цепи, тянется полевая дорога с жухлой травой меж колеями. Сохатский приказал роте быстро отойти за дорогу. Там мы залегли. Дорога перед нами шагах в ста пятидесяти. Приказ: установить прицел по линии травы.

По позвоночнику, от затылка к копчику, протёк холодок. А что если Шерапенков лжёт? Может, эти люди идут стеной не от неумения? Они опьянены ненавистью настолько, что им наплевать на смерть. Остановит ли их ружейный огонь одной некомплектной роты? Наш отход растревил их – катятся на нас валом. Различаю крики: «Сдавайсь!» Нет и попытки обойти нас.

Шерапенков лежит слева от меня. Он угрюмо-важен и от этого выглядит ещё смешнее в огромной, напалзающей на брови папаше. Левее его растянулся на земле Санёк, жуёт корочку хлеба.

– Ой, сымут они с ты шапку, Алексей...

– Смолкни! – Алексей кривыми зубами грызёт соломинку.

По цепи передают:

– Частым... начинай!

Вал красных накатился на дорогу. Справа от меня шарахнула винтовка Вячки Билетова. Через секунду нажимаю на спусковой крючок, выстрел почти сливается с выстрелом Шерапенкова. Слева и справа – резкий сухой треск, словно досками, плашмя, с невероятной силой бьют по доскам.

Вместо сплошного вала атакующих оказываются разрозненные кучки и отдельные фигуры. Наверно, в горячке порыва они не замечают урона – бегут на нас, как бежали. За ними возникают новые, новые группы. Тут и там несколько красных – впереди остальных: видимо, командиры. Слышны крики: «Товарищи, бей гадов! Их мало!»

Ах, мало? Посылаю пулю за пулей, то и дело замечаю падающих. Приближается человек в пальто, за ним – довольно плотная кучка красных. Он оборачивается к ним, подбадривает, размахивая рукой с пистолетом. До человека – шагов полста. Прицеливаюсь, но слева хлестнула винтовка: командир подскочил, упал. Шерапенков, дёрнув затвор, выбросил дымящуюся гильзу.

Бежавшие за командиром – точно это был его последний приказ им – легли.

Не боясь их бестолковой стрельбы, ведём по ним огонь с колена. Доносится: «Товарищи, вперёд!», «В атаку, товарищи!», «Ура!» – пуля обрывает призыв.

Красные вдруг начинают суматошно вскакивать с земли, кидаясь прочь – бегут сломя голову, многие побросали винтовки.

Продолжаем прицельный огонь.

Преследовать их значило бы далеко оторваться от полка, атакующего хутор Боровский, оставить своих без прикрытия. Поэтому ротный приказывает только собрать трофеи.

Вячка первым подоспел к убитому командиру в пальто, выдернул из его руки пистолет.

– Ого, браунинг прямого боя, десять зарядов!

– Его выстрел, – я кивнул на Шерапенкова, – трофей его. – Зачем мне понадобилось говорить это?

Вячка небрежным тоном, но настойчиво просит Алексея:

– Продай, а? Мне скоро деньги пришлют.

Тот молча взял у Билетова браунинг, сунул в карман шинели.

Санёк, наклоняясь над одним из убитых, чтобы отстегнуть от его пояса гранату, сказал, будто размышляя вслух:

– Одно мне интересно: откуда наш мил-друг узнал, что это идут рабочие?

– Догадался, – бранил Шерапенков безучастно. Словно говоря о самой обыкновенной вещи, объяснил: – Когда я насчёт разведки сообщал красным, к ним в аккурат – пополнение: фабричные одни. Говорят: два полка из самарских рабочих собрано. Беда, мол: ничему не обучены... Оно и видно, – добавил он. – А не умеешь, так и не наглей!

После такого вывода ни у кого из нас не нашлось что сказать.

* * *

К сумеркам неприятель был выбит из хутора Боровского. Наша рота заночевала в нём, выслав дозор к деревне Кирюшкино, откуда противник, получив подкрепление, мог угрожать нам заходом в тыл.

В дозоре: я, Шерапенков и ещё четверо. Командует Чуносков. Мы залегли в лесной полосе между полями, видя вдаль перед собой редкие огоньки Кирюшкино.

Ночь нехолодная; сижу на земле, подстелив под себя сухую траву. Возле меня оказывается Шерапенков.

– Бери, а? – протянул браунинг рукояткой вперёд.

Я чуть не привстал от изумления: в его голосе – просительность.

– Ну, возьми, не злобься...

– Зачем?

– Дарю вроде как...

Сегодня он здорово помог, у меня уже нет к нему ненависти. Но не может быть и дружеской. Для меня он – непостижимо тёмная, опасная фигура. Как бесстыдно-спокойно объяснил, почему ему стало известно, что на нас идут рабочие...

Отказываюсь от подарка. Он отошёл, сел под дерево, слившись с ним. Меня позвал Санёк, спросил шёпотом:

– Подкатывается?

Я рассказал. Санёк разбил о колено варёное яйцо, скovyривает с него скорлупу.

– Ну, скажи! Будто из Кутьковской слободы!

Недалеко от его родной деревни находится слобода Кутьковская. В давние времена это было село. Когда отменяли крепостное право, жители села потребовали лучшие помещичьи земли. Получив отказ, «встали в претензию» – свою землю не пахут. Отправили кругом посыльных с подводами, чтобы выдавали себя за погорельцев и собирали подаяние. Становились ямщиками, лесорубами, шли по деревням плотничать, класть печки, отправлялись бурлачить, а то и коней красть, разбойничать.

– С голодухи, зверюги, иной раз загинались, но поле пахать – не-е! Так и доселе: кто шорник, кто жестянщик, кто торговлишкой пробавляется. Зато гордости в каждом – во-о! – Санёк, привстав с земли, поднял руку, показывая, сколько гордости в каждом кутьковском жителе. – Скажешь ему: тебе ль гордиться, голяк? Чего не пашешь? А он важно, чисто купец: «Почему я должен на плохой земле сидеть, когда столько хорошей в дурацких руках плачет?»

– Уваженья требуют не по своему месту, – рассуждает Санёк тоном человека, уверенного, что его мысли неоспоримы. – Коли нет путёвого хозяйства, ты в жизни бултыхаешься, как котях в луже. С какой стати я должен перед тобой шапку сымать? А они полагают – должен. И любой вред могут засобачить исподтишка.

Он говорит шёпотом, к нашему разговору никто не прислушивается. Вячка «выдвинулся» в поле – будто б получше следить за деревней, а сам, наверное, дремлет. Другие: кто прохаживается, кто прилёг на траву.

– Трое кутьковских служили со мной в Персии, – шепчет Санёк. – Ну, чисто враги для остальных! Уж как их учили («учили» означало били), а всё без толку. Наверняка они за обиду – того... постреливали в спину во время боя. Но никто их на месте не поймал.

Помолчав, продолжил совсем тихо:

– Твой дружок в шапке – чисто таковский! Не гляди, что выручил. Завтра может так же и под монастырь подвести. Эдак он свой нрав тешит: представляет себя как бы над всем миром.

Услышанное кажется мне чудным до неправдоподобия: деревенский парень «представляет себя над всем миром»! Какие у него на то основания?

Санёк воспринял моё недоверие как должное: истины, доступные ему, от других скрыты. Посмеиваясь, сказал:

– Почему я дал согласие к нам его взять? Мне стало интересно, чего такое он против нас думает? Сколь он тонкий на каверзу?

«Тонкий на каверзу...» Я думаю о том, какой странный, загадочный человек оказался рядом с нами. Маленький, неказистый, а из-за него погиб сильный умный красивый Павел. А давеча сколько здоровых краснюков отправилось на тот свет из-за него же! К чему он стремится? Откуда в нём способность так независимо, так гордо держаться? Простой крестьянин, «бобыль», как сказал о нём брат. Видимо, и избы-то своей нет.

– И ведь бесстрашный до чего! – шепчу я.

– Так ему дано, – объясняет Санёк презрительно, будто речь о каком-нибудь незавидном свойстве. – За шкурку возьми, об стенку кинь – готов. Не мужик, а насмешка. Зато самовольства – поболее, чем у графьёв. Ему что красные, что белые – он всех ненавидит. Почему? Потому что ни те, ни другие его генералом не ставят.

– Неужели у него такие требования?

– А то нет? – Подумав, Санёк прошептал: – Я гляжу, он к тебе подкатывается. Оно, может, и неплохо. Про кутьковских я слышал: вдруг им кто-то стал по душе – так они за него на раскалённо железо сядут.

Молчим.

– Щас сядут, – говорит Санёк, – а через час зарежут. Самовольство!

* * *

За три дня наша дивизия отбросила красных на двадцать вёрст. Противник понёс потери, но не был разгромлен, как рассчитывал генерал Цюматт. В то время как мы наступали на северо-запад, группа красных войск, верстах в пятидесяти к северу, двигалась на восток. У нашего командования не было сил защитить наш тыл. Мы получили приказ отступить.

Бузулук оставлен. Отходим к Оренбургу, не расставаясь с надеждой завтра же ударить вспять. Месим грязь просёлков, но чувство подъёма не покидает. Господи, как верится в победу!

Дважды перед нами показывались разьезды неприятеля... В нашем тылу уже действуют его отдельные отряды.

Ночью был морозец, и ноги не тонут в грязи. С рассвета мы протопали вёрст пятнадцать. Пасмурный холодный день, мелькают снежинки. Вытянувшийся в колонну батальон приближается к деревне. Мы знаем: на батальон получены деньги от командования, и для нас будет куплен бык. Мы останемся в деревне до утра, вдоволь наедемся убоины... Это здорово подгоняет.

Поднялись на безлесный взлобок: вон и деревня. Из неё вправо, на юг, выезжает обоз. При нём коровы, стадо овец.

– Жители смываются, скотину угоняют? – предположил Вячка.

Ротный посмотрел в бинокль. Люди в обозе вооружены винтовками, видны нарукавные повязки, а их, красного цвета, носят красные. Удаляются под углом к линии нашего движения. Если пуститься за ними напрямую, полем, их можно догнать. Нас бесит: они забрали скот, чтобы вынудить нас взять у крестьян последнее. Того жирного быка, что занимает наши мысли, уводят!

Вызвались желающие нагнать обоз; среди них я, Шерапенков. Нас десятка три с лишним. Старшим – Санёк. Идём вспаханным на зиму подмёрзшим полем, что раскинулось по изво-

локу. Деревня осталась слева. В отдалении перед нами лысый глинистый гребень, за который перевалил обоз. На гребне, поодаль от дороги, высится скирда соломы.

Когда до скирды осталось саженой двести, застучал пулемёт. Шедший левее и немного впереди меня пензенский парень Пегин будто споткнулся: без звука упал ничком. Двое ранены. Лежим, вжимаясь в начинающую оттаивать пашню.

– Ушлые! – в тоне Санька слышится уважение; он стреляет по верхушке скирды. – Будут нас держать, пока обоз не сбежит.

Несколько минут палим по скирде. Пулемёт молчит. Попали? Санёк считает, что нет:

– За верхом спрячутся. А пойдём – ещё пару наших срежут.

– Пегин бедный, – срывается у Чернобровкина, – у него сегодня день рождения!

– Поели говядины! – разносится по залёгшей цепи. Стонут раненые; их волоком потащили к деревне, куда уже вступает наш батальон.

Санёк, как всегда, обстоятелен:

– Чего уж, сами напросились. Ни с чем возвращаться не с руки. Будем окружать.

Понимаем: пока ползком обогнём скирду, обоз окажется так далеко, что его уже не догонишь. Может, удастся хотя бы захватить пулемёт. Пригодился бы он нам здорово: в батальоне нет пулемёта.

– Гляди вон туда, – Шерапенков вдруг показал мне пальцем на гребень, вправо от скирды. – Замечаешь водороину?

Всмотревшись, я увидел промытую весенними водами рытвину: она тянулась с бугра и пропадала.

– Сообрази уклон местности, – сказал Шерапенков таким тоном, будто он заранее знает, что я ничего сообразить не смогу, – водороина должна заворачивать влево и проходить между нами и пулемётом. Если б ты сидел на лошади, ты б её видел.

Не понимаю, куда он клонит.

– До водороины добегу, – говорит он нарочито мягко, как говорят с глупенькими, – по ней, по ней... и буду у пулемётчика за спиной.

– Да, может, она не доходит так далеко вниз, промоина твоя?

– А куда вода девается? – спрашивает насмешливо и вместе с тем терпеливо (так, чтобы терпеливость была заметна). – В дыру под землю уходит?

Я не сдаюсь: а, может, рытвина не заворачивает влево, а проходит где-то справа от нас?

На его лице – презрение. Он даёт мне время его почувствовать. Отвернулся, ползёт к Саньку. Тот задумывается.

– А сколь до неё бежать, до канавы? Срежет он тя.

– Моё дело!

Санёк повернулся ко мне с выражением немого вопроса. У меня вырвалось:

– Я с ним...

Пулемётчик, заметив наше оживление, открыл огонь. Вскрик, ругательства. У нас ещё один раненый.

* * *

Бьём из винтовок по верху скирды. Пулемёт опять смолк.

– Я пошёл! – не удостоив нас взглядом, Шерапенков побежал вперёд.

Несуразный в шинели, в сапогах, которые ему велики, в огромной папахе. «Одна шапка, – выражение Санька, – пол-его роста!»

– Хочет к красным, – возбуждён Вячка. – Ой, уйдёт!

– Если только они его раньше не срежут, – замечает Санёк со злорадством.

Вскакиваю, бегу за Алексеем, изнемогая от сосущего, невыразимо унылого ожидания: сейчас ударит в грудь... в лицо... в живот...

За спиной – густой треск выстрелов: наши стараются прикрыть нас. Однако пулемёт заговорил: распластываюсь на земле. А Шерапенков бежит, клонясь вперёд: маленький человек, словно для смеха обряженный солдатом.

Заставляю себя вскочить, несусь вдогонку, наклоняясь как можно ниже, зубы клацают. Впереди, в самом деле, – рытвина. Пулемёт строчит: вижу, как на пашне перед Алексеем в нескольких точках что-то едва уловимо двинулось. Это в землю ударили пули.

Я бросился в сторону, упал. Въедливо-гнетуще, пронизав ужасом, свистнуло, кажется, над самой макушкой. Последняя перебежка – и я в канаве. Шерапенков встречает ленивым укором:

– Когда знающий учит, надо язык в жопу и слушать, а не вякать.

Пополз по водороине, которая, подтверждая его догадку, заворачивала на бугор. В ней тающий ледок, местами стоит вода. Я промок и вывозился в грязи так, как мне ещё не случилось; кажется, даже кости отсырели.

– Долго ещё?

Он, не отвечая, выглянул из рытвины, нехорошо рассмеялся. Осторожно высовываюсь. Скирда от нас слева и по угорью немного выше. До неё саженой тридцать. Пригибаясь, от неё спешат уйти за гребень двое, задний несёт ручной пулемёт.

– Это они от нас с тобой бегут, – посмеивается Алексей. – Видали, что мы из-под их пуль в водороину проскочили: не желают спинку-то подставлять. Но припоздали маненько... – прицеливаясь, бросил мне: – В заднего!

Стреляем одновременно – упал. Другой побежал, не оглянувшись.

Мы погнались, часто стреляя с колена. Алексей третьим выстрелом уложил и его. Торопимся к пулемёту – «льюис» с магазином-тарелкой.

– Замечательная вещь! – тоном знатока произносит Алексей. С трудом подняв, осматривает «льюис», поглаживает сталь.

Подбежали наши. Санёк жадно глядит на пулемёт.

– Себе берёшь? – спрашивает на удивление уважительно.

Шерапенков опустил «льюис» наземь, повернулся к Саньку спиной, снисходительно-высокомерно, не передать словами, уронил:

– Ладно. Я себе ещё достану.

Подъехали всадники в красных бескозырках: это гусары, их дюжины три. То, что осталось после наступления от приданного нашему полку эскадрона.

Узнав об уходящем обозе, гусары вызвались его настигнуть, если со скирды будет «снят» пулемёт. Теперь они пустились за обозом ходкой рысью.

* * *

Редкое счастье: хозяйева, в чей двор мы вошли, топили баньку, собираясь париться. Я, вымокнув в канаве, до дрожи окоченев, попросился в баню. Алексей, который трясся от холода, как и я, пошёл париться только после приглашения, повторённого мной дважды.

А Санька баня интересовала во вторую очередь.

– Мать! – кинулся к хозяйке. – У нас деньги есть, всё оплатим! Даёшь лучший харч?

Крестьянка поставила на стол чугунок варёной картошки, горшок гороховой каши с подсолнечным маслом, положила каравай хлеба, связку вяленых лещей. Билетов и Чернобровкин, собравшиеся было с нами париться, не стерпели и набросились на еду.

Банька плохонькая, топится по-чёрному, но я блаженствую. Алексей же моется основательно и бесстрастно, точно делая важную, но не радующую работу. Я думал: раздевшись, он

окажется совсем тщедушным. Но нет: у него мускулистые, отнюдь не тонкие ноги, и в теле чувствуется здоровье. В пару бани язвы на спине стали буро-пунцовыми, словно бы увеличились и углубились. Когда Алексей окатывается водой, вода розовеет от сукровицы.

– Саднят раны? – спросил я.

– Рубаха присыхает. Рвать надо, а неохота. Так и ходишь: по неделе и больше, – он не к месту рассмеялся. – Наконец-то дёрнешь: кэ-эк гной брызнет! А там уже чистая кровушка пойдёт.

Я сказал, что ему, наверно, нужно постоянно делать перевязки.

– А кто будет? Нюрка мне стирать не хотела и не велела Лизке.

Нюрка, оказалось, – жена брата. Лизка – старшая дочка. По словам Алексея, он однажды даже избил золовку «за злобство». А «после брат сзади прыг и оглушил». Вспомнив нехилого брата, я подумал, что ему, конечно, вовсе не требовалось прыгать на Алексея сзади. Но я промолчал. Спросил, из-за чего у них рознь.

– Потому что я, – надменно сказал Шерапенков, – в моём праве! И если б не они, у меня могла бы жизнь быть.

Рассказал, что окончил церковноприходскую школу с похвальным листом и отец решил: он больше для городской жизни подходящ. Отвёз в Самару к известному мастеру Логинову: учиться делать дамские ридикюли и другую галантерею. В учении Алексей показал дарование. Отец, умирая, оставил всю землю – восемнадцать десятин – старшему брату с условием «довеести Алёшку до дела».

Началась германская война; он уже работал помощником Логинова. Попросился на войну. Когда вернулся с фронта после ранений – захотел открыть собственную мастерскую, но требовалась известная сумма. Брат в то время «имел двух лишних бычков». Денег от их продажи Алексею хватило бы.

– Я ему говорю: уважь моё право! Наказал отец меня до дела довести, так доводи!

Но брат, «а особенно Нюрка», напирала, что он «уже доведён до дела» – работал у Логинова, пусть и дале работает.

– Я говорю: это было полдела. Дело – когда оно моё!

Не дали денег брат с женой. Тогда он пришёл к ним в отцовскую избу: «Буду вовсе без дела жить. Я в моём праве!» Брат не выгнал, терпел; золовка «злбилась, выживала». Тут случился Октябрьский переворот, вскоре в село нагрянула красногвардейская дружина – «и двоих быков свели, и ещё и кабана!»

Вспоминая это, он трёт безволосую грудь мочалкой, удовлетворённо посмеивается.

Я спросил, что он думает о большевиках.

– Выжиги! Читал я их листки: всеобщее счастье, мол, дадим. Разве ж счастье может быть всеобщее? Ты погляди, сколь горемык кругом: тьма-тьмушая! Куда они денутся? А несчастные рожаться, што ль, перестанут? Одни дураки в это счастье и верят, но, скажи, как много их! Тот отец-покойник говорил: дураков в пашню не сеют, они сами плодятся.

– И как же ты, – сказал я, – это понимал и побежал к красным нашу разведку выдавать?

Он глядит на меня в упор. Глаза ледяные, немигающие.

– Я на рыбалку собирался: сижу под сараем, лажу верши, а твой брат по нашему двору туда-сюда, ляжками играет, распоряжается. Иди, мне говорит, напои мою кобылу! Я говорю: разве вы, господин поручик, меня слугой наняли?

«Господин поручик...» Брат был подпоручиком. По армейскому неписаному правилу, Шерапенков опустил приставку «под».

– А он... – в голосе Алексея – неизбежно-горчайшая обида, глаза подёрнулись влагой, – он как сунет мне кулаком в спину, в больное место. Здоров, сволочь! Я от боли упал. Ну, думаю, я тя обласкаю...

Помолчал, потупившись. Поднял на меня горящий взгляд.

– Если б можно было: мне трёхлинейку – и ему! С десяти сажений – «цельсь!» – Голос стал дрожливо-яростным, в уголках рта – пена. – По счёту «три»... Я б его сшиб! И нисколько бы не жалел, и хер бы с ним!

Последние слова меня резнули по нутру, точно глотнул чего-то кипящего. Я поспешно окатился водой, стал одеваться.

* * *

У гусар один убитый, трое раненых, но скот возвращён в деревню. Командир батальона уплатил хозяину за огромного вола, и наутро следующего дня мы ели вожделенный суп со свежим мясом, густо приправленный картофелем и крупой. Каждому досталось почти по два фунта говядины. Наевшись, мы присолили оставшиеся куски и спрятали в вещевые мешки.

Утро пронизывающе-сырое, туманное, вот-вот посыплет мокрый снег. До чего не хочется покидать натопленные избы! Но трубят сбор. Командир батальона, пройдясь перед строем, вдруг называет фамилии: Шерапенкова и мою.

– За вчерашнее дело объявляю благодарность и всем ставлю в пример! – обеими руками пожимает руку Алексею, потом мне, обдаёт душком самогона.

– Р-рад стар-раться! – Шерапенков крикнул это напиралоюще-грубо, точно был начальником и выругал подчинённого.

Командир уставился в замешательстве. Я вытягиваюсь, с пылом выкрикиваю положенные слова: вызываю довольную улыбку немолодого штабс-капитана. Запоздало осознаю, что меня подхлестнул страх за Алексея.

Когда вернулись в строй, Вячка (он с вечера терпел, но так и не пересилил любопытства) спросил Шерапенкова:

– Извиняюсь... не изволишь сказать, зачем ты вчера больше всех старался?

– Если я пошел воевать, – с расстановкой проговорил Алексей, не двинув головы в сторону Вячки, – то я воюю! – Это был тон повелителя. Билетов аж икнул, встав на месте. Глядя на него, Санёк загоготал.

* * *

Батальон походной колонной выступил из деревни, держа на восток. В поле разошёлся обжигающий ветер. Запорхал снежок, скоро по лицу стала стегать колкая крупа. От командира полка прискакал верховой. Позже мы узнали: привёз сообщение, что неприятель пытается отсечь нашу дивизию, соединяясь с краснопартизанскими отрядами и образуя заслоны у нас на пути.

После трёхчасового марша по безлюдной равнине показалось село. На подступах к нему видны тут и там стога сена. Хотя крупа метёт довольно густая, было замечено, как с одного из стогов скатилась и исчезла фигурка.

Командир остановил движение, выслал на разведку в село кавалеристов, отступавших с батальоном. Ждём в поле, подняв воротники шинелей, зябко горбясь, поворачиваясь спинами к ветру. Санёк достал из вещмешка воловье ребро и с удовольствием его обглаживает.

– Дотерпел бы до избы! – бросил Чернобровкин.

– А коли её не будет? – рассудительно говорит Санёк.

И тут от села понеслась трескотня выстрелов. Разведка во весь опор скачет назад. В мути снегопада блеснули огоньки на стогах и возле. Стоявший рядом со мной доброволец рухнул на колени, смотрит на вывернувшуюся ступню, хватая ртом воздух – пуля перебила кость. Команда: рассыпаться! Не успели мы развернуться во фронт, как от стогов пошли цепями

красные. Санёк прилёт наземь с «льюисом», пулемёт заработал – привычно понесло пороховой гарью.

Двигаясь на нас с востока, противник стремится зайти на севере за наш левый фланг. Санёк сосредоточил огонь «льюиса» на этой группе. Я и Шерапенков оказались на правом фланге. Верстах в полутора к югу от него темнеет перелесок на горке. Передали приказ занять горку, чтобы обеспечить батальону безопасность с этой стороны.

Нас человек около сорока, бегущих по отлогому подъёму к перелеску. Командует нами вчерашний учитель труда начального училища. Вдруг из-под шапки у меня хлынул пот, круто останавливаюсь: на высоте – конники.

Выезжают, выезжают из редкого леса. Вся вершина покрылась конницей. С нею мы ещё ни разу не имели дела. У меня винтовка заходила в трясущихся руках. Ужас стиснул грудь.

– Что делать, братцы? – болезненно-жалко вскрикнул кто-то из наших.

Учитель закричал:

– Бегом назад к своим, под прикрытие пулемёта!

– Не-е-ет!! – стегнул свирепый громкий, неожиданно низкий для его роста голос Шерапенкова. Необычно маленький, кажущийся неуклюжим, он странно быстро набежал на учителя, подпрыгнул – ударил того прикладом по лопатке.

– Куда гонишь, срань?! Порубят, как курят! – Потряс винтовкой над головой, от чего его фигура показалась ещё короче: – Стоять! Ни с места! – в невероятно раскатистом, звучном голосе – подавляющая непреклонность.

Его... слушают!

Так, будто делал это много раз, он скомандовал встать тесно в ряд, изготавиться к стрельбе.

– Иначе не спастись! Они ж догонят легко!

Человек десять побежали, остальные выполнили команду. Тёмный сплошной оружий вал конницы хлынул на нас с горки. Ноги уловили дрожь земли и будто отнялись. Сейчас в безумии зажмурюсь, повалюсь ничком, прикрывая голову руками.

– Их бить – легче лёгкого! Огонь! – тоном неумолимой власти, с заразительным торжеством кричит Шерапенков.

Чувствую, как у меня под шапкой волосы шевелятся, но руки подчинились приказу. Бью, бью из винтовки в ужасающе близкую, стремительно вырастающую лавину конских, людских тел. Слева от меня Шерапенков, безостановочно стреляя, заключил непоколебимо-упрямо:

– Стой – и никакая конница тя не возьмёт!

Никогда ещё я не видел, как на всём скаку валяются, летят кувырком лошади, всадники. В порыве неистового кошмара торопишься целиться и разить, разить, прижимаясь щекой к ложу полновесно отдающей в плечо послушной родной трёхлинейки. Щемяще-жалобное конское ржание, людские вопли. Кажется, даже слышен треск костей. А справа, слева резко и часто хлопают, гремят, оглушительно шарахают винтовки.

В шумной огромной мятущейся волне, что вот-вот поглотит нас, вдруг открылись просветы, они быстро ширятся. Конница рассыпается, обтекая нашу недлинную, непрерывно стреляющую стенку. Поворачиваемся, ловим на мушку цели. Те из наших, кто побежал, теперь тоже ведут огонь по разрозненным кавалеристам. Как они спешат ускакать за горку!

– Ур-ра пехтуре! – поощрительно провозгласил Шерапенков.

Еле сдерживаюсь, чтобы не обхватить, не поднять его, восторженно тормоша.

* * *

Бой с красной пехотой продолжался до темноты, в село мы не пробившись. От командира полка поступил приказ двигаться на север. Там два наших батальона в упорном бою отбросили

неприятельский заслон. Мы соединились с ними, вошли в начинающийся на востоке лес, тут и заночевали.

Палаток на всех не хватило. Устроив подстилки из нарубленных веток, добровольцы спят у костров. Ночь промозглая, тает снег, с деревьев сыплются капли. Я и Шерапенков пристроились возле двух положенных рядом лесин. Огонь медленно ползёт по ним, обдавая спасительным жаром. Алексей разулся, протягивает к пламени ступни. Я лежу на боку, расстегнув шинель, гимнастёрку и подставляя жару грудь.

– Про счастье треплются, – рассуждает Шерапенков о красных. – Ненавижу, когда с этим словом балуют. Это меня прям по больному месту, как шилом в пупок.

Чувствуется, он хочет поговорить. Слушаю с интересом.

– Ты из каких будешь? Из *капиталистских*

– Нет, – ответил я, – мы небогатые. Отец был инженером, мосты строил, раньше мы имели состояние. Потом вошли в долги. А после смерти отца и вовсе в долгах.

– Ага. Значит, красных победите, чего ты выиграешь? Взысканье долгов?

– Ну, если так глядеть – получается... – я улыбнулся.

– Получается! – повторил он. – Ты не смейся. Смеху тут нет. Это ты сейчас не задумываешься, а после поймёшь... – последние слова он произнёс едва слышно и словно бы забылся. Потом спросил: – У тебя любовь была?

Отвечаю, что вроде бы, а вообще – не по-настоящему.

– Не по-настоящему! – повторил он язвительно и с непонятной злостью, словно уличая меня в чём-то, выдохнул: – А если – по-настоящему? – затем, без перехода, прошептал: – Возьми пойми, кто моё счастье скомкал...

Он уставился в огонь, худое заострённое лицо выглядит измученным.

– Где я по галантерее учился, у Логинова... дочка – ну, что она из себя? А так легла к ней душа! И Логинов был не против за меня её отдать. Ты, мне говорит, по мастерству далеко пойдёшь, богатым станешь. А она, Варька-то, ерепенится: больно маленький! Сачком тя ловить? Вот с того я и пошёл на германский фронт. Разве ж я не могу себя выказать?

Он сел, пристально смотрит на меня, опасаясь усмешки. Убедился, что я слушаю с сочувствием.

– С войны я ей верные письма слал, от сердца. Вернулся: она уж ко мне по-другому. «А что, – говорит, – Алёша, и выйду!» Но теперь Логинов крутит. Оказывается, к Варьке сватается зеленщик – с малым, но с капиталцем. Я Логинову: «Что ж вы, Иван Михалыч, сами сулили...» А он: «Не кори, Лёша, не могу я свою выгоду упускать. Сноровистый ты человек, но всё ж таки нужна надбавка. Даю тебе полгода сроку: открой своё дело – завтра за тя Варьку отдам!»

Шерапенков прилёг головой ко мне:

– Зато я и рвался своё дело открыть, а брат и его баба не дали... знаешь уже. Вижу – раз так, не стану я полгода тянуть! – голос зазвучал сумрачно-гордо. – Отписал из села Логинову: не будет у меня своего дела. Ну, вскоре знакомец из Самары мне пишет: отдана Варька за зеленщика. Теперь ответь, – ожесточённо спросил Шерапенков, – кому я за мою радость должен? Брату с золовкой? Логинову?

Не знаю, что сказать, чувствую горячую жалость к Алексею.

– А среди вас мне лучше, – тихо говорит он. – Я тебе по чести: я на войну пошёл за Варьку, за любовь. Чтоб своё дело открыть – тоже пошёл бы. Ну, а вы-то, молодняк, я гляжу, ни за то, ни за другое воюете. А за что?

– За то, чтобы никто не обманывал народ, – отвечаю, вспомнив разговоры моих старших братьев с друзьями. – Чтобы народ сам по каждому уезду, волости, по каждой деревне себе власть выбирал!

– Ну, а вам-то с того какая прибыль? Он по себе выберет, а тебе, скажем, от этого ничего хорошего?

Я в затруднении. Подумав, говорю:

– Если народ станет свободным, хорошо будет всем!

– Ты веришь? – не сводит с меня горящих глаз. – За это себя кладёте?! – Молчит минуты две, шепчет: – *Божьи вы люди*

* * *

Заслоны красных нам больше не встречаются, но неприятель настойчиво наступает на пятки. Сегодня спозаранку наш батальон удерживает позицию на опушке осинника, обеспечивая отход основных сил. После неудавшейся атаки красные залегли в поле, постреливают в нас с расстояния около версты.

Я пристроился за упавшей трухлявой осинкой. Рядом – Санёк с «люисом». Шерапенков влез на дерево в десяти шагах поодаль: хочет подстрелить командира красных.

– Стараётся, – многозначительно говорит Санёк об Алексее, достаёт из-за пазухи сушёную воблу, колотит ею о ствол пулемёта, чтобы легче отстала чешуя. – Об чём он тебе калякает?

Зная, что Санёк ехидно посмеётся, скажи я ему о любви Алексея, молчу об этом. Уклончиво отвечаю: говорит, мол, ему хорошо среди нас.

– Хорошо? Ему?!

– Ну да! Раз мы воюем за свободу народа, свою жизнь кладем... И вообще, мы – Божьи люди.

– Чего-о-о? – у Санька тревожно-изумлённое, растерянное лицо. Спустя минуту протянул не то с восхищением, не то с ядовитой злобой: – Дрючо-о-ок!

Над нами одна за другой свистнули пули – я спрятался за гнилую колоду. Санёк не шелохнулся, держа голову над ней, как и держал. Обглядывая рыбью спинку, задумчиво произносит:

– А я надеялся – он человек. Г-гадственный сучонок! – Решительно доказывает: – Легко балакать, что мы – за народ! А разве не видно: мы для него – одна тягота? Харч забираем, а то и лошадей. Начальство, бывает, плотит, но чего теперь деньги стоят? Это раз! А как я ему в ухо дал? Как мы его к стенке ставили? Тоже Божье дело али семечки? Но даже, кроме всего этого, ты погляди сам на нас, – назидательно толкует мне Санёк, – мы-то – Божьи люди? – Заходится едким мелким смехом. – За круглого дурака считает тя.

Не могу не смеяться вместе с ним. Быть дураком не хочется. Я смеюсь, но мне больно, как от меткого, жестокого удара. Мне больно от пронзительного чувства собственной беспомощности. Если Алексей обманывает?.. Обманывает – а я ему верю.

Верил до сего момента... Доводы Чуносова беспощадно убедительны. Вспоминаю: мы проходили деревней, Вячка забежал в избу, в этот момент в ней никого не оказалось, в печи стоял горшок с топлёными сливками. Вячка вынес его, и мы стали ложками поедать сливки, хотя прибежала хозяйка и кричала на нас. А как-то я пообещал крестьянке заплатить за шерстяные носки и не заплатил: денег не было. Тёплые носки сейчас на мне. И ведь Шерапенков всё это знает. Знает, но пылко, с горящими глазами шепчет: «*Божьи вы люди...*»

– Зачем он врёт? – Санёк поглядывает на осину, на которой примостился Шерапенков. – Красного командира высматривает... Окрестность он высматривает! Чую я, скоро засобачит нам...

Не верить этому?.. А что если Алексей, давеча представлявшийся мне таким искренним, на самом деле изощрённо «тонок»? «Тонок на каверзу» – как выразился Чуносов. Несколько раз выручив нас, попросту нами играет: убажает своё самолюбие. И ждёт случая...

* * *

Отходим негустым чернолесьем, ноги скользят по влажной липкой почве, устланной опавшей листвой. Красные не отстают, стреляют. Нервируя, давяще посвистывают пули, с щёлканьем отбивают от деревьев куски коры, сшибают сучья.

Открылась река в пологих берегах, за ней – шелестящая сухим бурым камышом и осокой низина, а саженой через полтора – крутой каменистый кряж. Дивизия уже форсировала реку и ушла, уничтожив средства переправы, оставив нам одну лодку.

Больше часа отгоняем красных ружейным, пулемётным огнём, пока батальон, ходка за ходкой, перебирается на другой берег. Наконец Санёк, я, Шерапенков, Вячка и ещё человек семь последними набиваемся в лодку. Гребцы во всю мочь налегают на вёсла: скорей, скорей переплыть реку! Выпрыгиваем на отмель, ноги вязнут в иле. Вот-вот на покинутом берегу появятся красные: примутся расстреливать нас, тяжело бегущих по топкой низине.

– Лёнька, гляди-и! – Санёк рванул меня за плечо.

Оборачиваюсь. Шерапенков остался у лодки. Упираясь в её нос руками, развезжаясь сапогами по илу, пытается столкнуть её назад в реку. Санёк поднимает «люйс».

– Не-ет! – жму книзу ствол пулемёта.

– Давай сам! – обдал меня брызгами слюны. – Шас в лодку запрыгнет, на дно ляжет: не достанем...

Шерапенков – предатель. Улучил момент – перебегает к красным. Надо успеть убить его, но я колеблюсь. Сейчас его застрелит Санёк. Почему-то не могу этого допустить, я должен – я! Вскидываю винтовку, стреляю.

Он упал боком, поднялся на колени, столкнул лодку в реку. На четвереньках развернулся к нам, выползая из воды.

В смутном непонятном порыве я побежал к нему. Папаха с него свалилась, он медленно ложится животом в грязь.

– Они ж... могли б пловца... за лодкой... – выдавливает прерывисто, – и переплыли б удобно. А так – хрен!

Лодку уносит течением. Вымазанной илом рукой он пытается расстегнуть ворот шинели.

– Вы... стрелять скорей...

Приподнимаю его за плечи. Подбежали наши: слушают мой крик – объясняю, в чём дело. Санёк, я, Вячка, Чернобровкин несём Алексея. На его покрытом грязью лице блестят глаза; улыбается:

– Убили меня... чудачки...

Санёк остервенело матерится:

– А ты крикнуть не мог, а?! Гордый – кричать?! Гордый?!

Мы втащили Алексея на кряж, несём по косогору к поджидающему батальону. Ощущаю, как Алексей потягивается, словно вяло пробует вырваться из наших рук. Кричу:

– Санитары!!!

– Умер он, слышь, – говорит Вячка.

* * *

Известие, что я убил Шерапенкова, мгновенно всколыхнуло батальон. Нашу историю в подробностях знают все. Встречаю осуждающие, возмущённые, враждебные взгляды. В них чудится мысль: «Ишь, не вынесла душонка, что он таким молодцом показал себя!» Меня колотит нервная дрожь, пытаюсь разъяснить, доказать, что я не нарочно.

– Извольте помолчать! – кричит мне в лицо учитель труда начального училища, снимает шапку над телом Алексея.

Подошёл Сохатский, резко назвал мою фамилию. Встаю перед ним навтыжку. У него негодующее лицо.

– Кто вам дал право стрелять в своих?!

Меня качнуло.

– Ни при чём он, господин прапорщик! – вступился Санёк. – Я виноват.

– И я, – рядом со мной встал Вячка, – я тоже. Мы... мы... эх! – потупился.

Сохатский всматривается в нас поочерёдно.

– Очень странно... – он склоняется над телом Шерапенкова: – Лучший солдат у меня был.

Мы несли Алексея до ближайшей деревни. Там и похоронили. Собрали в батальоне денег, сколько у кого нашлось, отдали священнику, чтобы отслужил не один раз.

Название деревни – Мышки. От Оренбурга в ста пяти верстах.

Рыбарь

1

Хлебных снопов уже нет, а летний их запах остался. В рубленом овине темно. Сизорин выбрался в предовинье, приоткрыл дверь. По большому крестьянскому двору проходят люди: к избе, к конюшне, к сараям. В свете луны взблескивает металл винтовок. Голоса незнакомы.

– А живо драпанули! – сказал один.

Другой:

– В Безенчуке настигнем! Пешкодралом, да не спамши, не оторвутся.

Сизорин понял: батальон Народной Армии КОМУЧа, где он числился рядовым, спешно покинул деревню. Впопыхах его забыли. Изнурённый походом, несколькими сутками без сна, он непробудно заснул в овине. И вот в деревне красные...

«Господи, вызволи...»

Двор опустел, красные набились в избу. Можно бы выскользнуть, но возле конюшни топчется часовой: нет-нет мелькнёт огонёк самокрутки. Сизорин молит о спасении Христа, Богородицу, всех Святых. Повернул внутрь овина: не удастся ли вылезти через крышу? Вдруг с земляного наката над колосником:

– Тссс, земляк! Я – свой!

Всё как отнялось, винтовку не удержал: приклад больно ударил по ступне.

– Не двигайся! – приказав, кто-то бесшумно соскочил вниз, вырвал винтовку: – Отстал?

– А ты кто? – прошептал Сизорин.

Незнакомец сказал, что пробирается из мест, занятых большевиками, чтобы вступить в Народную Армию. Чуть-чуть её солдат не застал в деревне. Вошёл – а тут в неё красные въезжают. Укрылся в овине.

– Они путников вроде меня, призывных лет – мигом в распыл! – сообщил человек. – Тем более на мне – хромовые сапоги.

Крепко сжимает руку парня выше локтя:

– А ты дрыхнуть охоч! Я на тебя наткнулся, подле посидел, на накат залез – знай свистишь в обе дырки.

– Крыша соломенная. Разобрать, чай, можно? – бормочет Сизорин.

А толку? Попадут на соседний двор, а там тоже часовой. Лучше уж напрямки мимо избы. Но сперва михрютку украсть!

Сизорину впечаталось в ум неизвестное выражение – «михрютку украсть», – отнесённое, как он догадался, к часовому.

– При мне наган, а нужен твой винт! – человек поглаживает винтовку.

– И... чего?..

– Сними шапку, крестись! Будем надеяться.

* * *

Незнакомец отступил в темноту, и там вдруг страшно завывла собака. Сизорин оторопев присел на корточки. Невероятно тоскливый, душераздирающий вой, точно кто-то трогает сердце когтистой ледяной лапой.

– Цыц! Зар-рраза! – крикнул часовой от конюшни.

Вой сменился лаем, взвился вновь. Красноармеец приближается матерясь. Сизорин, скорчившись, смотрит в чуть приотворённую дверь.

– Пшла-аа!! – рывкнул часовой, затопал ногами.

Тишина. Он высморкался на землю, сплюнул, повернулся. Не отошёл пяти шагов, как вой с бесконечно горестной, мертвящей силой стал ввинчиваться в уши. Приоткрылась дверь избы.

– Стрели ты её! Спать нельзя!

– Она в овине! – огрызнулся часовой. – Я туда заходить не могу – пост покидать. Пусть ротный скажет.

Вой не утихал. Минуты через две из избы крикнули:

– Ротный сказал – пальни!

Часовой шагнул к овину, щёлкнул затвор. Сизорин, отпрянув от входа, упал навзничь. Стегнул выстрел, в лицо отлетела щепка, отбитая пулей от косяка. Короткое, смертельно-унылое завывание – вспышка, грохнуло; овин наполнился пороховой гарью.

Сизорин ощутил на лице хваткие пальцы.

– Задело, што ль?

– Не-е... – парень приподнялся, сел.

Незнакомец прошептал в ухо:

– Теперь они или выскочат, или решат: второй выстрел тоже по собаке...

Сизорину в дверную щель смутно видно лежащее на земле тело часового. Стянул шапку, стал молить о чуде Святого Серафима Саровского... Обрекающе стукнет, распахнувшись, избынная дверь, хищно резнут голоса, клацнут затворы...

Спутник неслышно скользнул из овина. Одолевая страх, сгибаясь до земли, Сизорин заспешил следом, сторожко, с вытаращенными глазами, на носках обежал лежащего. Его рука согнута в локте, будто бы прикрывая голову. Приторно-вяжущее, позывая на рвоту, пахнет кровью.

На всех лошадей места в конюшне не хватило, несколько привязаны снаружи. Покрытые потниками, опускают морды в кормушку, хрумкают сено.

– М-мм... – дрожливо и больно от нетерпения замычал Сизорин, видя, что его товарищ вкладывает коню удила. Бежать, сломя голову бежать!

– Дурак! Пешие не уйдём, лесов нет, – полоснул яростный шёпот.

Минуты ползли терзающе, точно их, как верёвку, протаскивали сквозь сердце. Человек обронил как-то буднично:

– Без седла сможешь? – и вдруг прошипел: – Винт подбери!

Парень схватил винтовку убитого. Через миг дверь избы закрипела. Луна задёрнута облаками, оживающий порывами ветер будто сгущает сырую студёную мглу. В темноте обозначилась фигура на крыльце. Оба присели за лошадь. Журчит струя, троекратно разносится протяжный громкий звук. Фигура удовлетворённо крикнула, нырнула в избу.

– Это ротный был, – сказал незнакомец, когда они шагом, чтобы не слышали в избе, проехали двор, огород и оказались на выгоне.

– Почём знаешь?

– Любой другой усёк бы: чегой-то часовой на его пердёж шуткой не отозвался? А ротный знает: с ним шутить не посмеют.

Сизорин, восхищённый новым приятелем, спросил, кто ж эдак называет: «михрютка»? «винт»? Тот ответил: воры.

– Так ты... не вор ли?

– Переверни шестёрку кверху ногами! – загадочно, совсем сбив с толку солдата, сказал спутник.

2

Днём добрались до своих. Белые грузились в эшелоны – было приказано до подхода противника отбыть на Самару. Ротный командир, наспех выслушав Сизорина, бросил его товарищу:

– Езжай! Там разберёмся.

Уселись в теплушке на солому среди однополчан Сизорина. Его спутник – неказисто-худощёкий, в телогрейке, в заношенном пиджачишке, в кроличьей шапке – выглядит примелькавшимся мужиком, каких миллионы: разве что разжился, по случаю, хромовыми сапогами.

Себя он назвал:

– Ромеев, Володя.

Он уже знает, что Сизорин работал на пороховом заводе в Иващенко подносчиком материалов, в Народную Армию вступил потому, что красные расстреляли отца – старого мастера: подбивал-де к забастовке...

Вскоре после Октябрьского переворота большевики «посадили на голод» весь заводской посёлок Иващенко. Рабочим было предписано трудиться по двенадцать часов в сутки – за полтора фунта хлеба. Этого и одному – чтоб чуть живу быть, а семье? Собралась сходка – тысячи голодных, замученных: «Бастовать надо, товарищи!» А по товарищам, по безоружной толпе – товарищи комиссары из пулемётов...

Когда летом восемнадцатого провозгласилась в Сызрани белая власть, рабочие Иващенко «косяком пошли» в армию КОМУЧа. Причём сорокапятилетних оказалось не меньше, чем юнцов вроде Сизорина.

В который раз взявшись он рассказывает однополчанам, как удалось спастись благодаря редкостным хитроумию и изворотливости Ромеева.

Искоса поглядывая на него, доброволец Шикунов, вчерашний конторщик порохового завода, спросил:

– Так ли было?

– Совершенно обычно! – последовал ответ. – Дело-то в сыске известное. Когда ворьё хочет обчистить склад, завсегда манят михрютку «на лайку». Тут первое что? Чтоб он стрельнул и чтоб те, кто в домах, знали – стреляет он. Тогда сади в него! Подумают – это он по приبلудной собаке. Перевернутся на другой бок и задрыхнут.

Ромеев со значительностью указал на Сизорина:

– А без него не вышло б! – вынул из-под телогрейки револьвер. – Пульни я из этого нагана: любой баран отличит, что это не винт михрютки. А у малого оказался винт!

– Вы по прошлому-то... из сысского будете? – интересовался Шикунов.

– Именно – и притом, в политическом разрезе! – уточнил со смешком, как бы балагурия, таинственный человек.

* * *

Двери теплушки широко раздвинуты – проплывают кленовые лески с розово-жёлтой листвой, то и дело открываются луговины, где ещё всюду зеленеет высокая густая трава. Ромеев, обняв руками поднятые к подбородку худые колени, следит за мелькающими видами с чутким, радостным интересом.

Шикунов хотел было снова задать ему какой-то вопрос, но перебил Быбин – степенный многодетный рабочий:

– Нету, выходит, сил у начальства? Теперь что ж – отдаём за здорово живёшь Ивашенково? Хорошо – мои убрались к родне в деревню. Но дом-то остался... Вот вы, – обратился Быбин к Ромееву, – много, должно быть, шли через расположение красных. Жгут они дома у тех, кто с белыми ушёл?

В ответ раздалось:

– Я этим больно-то не любопытствовал, но видел – горят дома!

И человек закончил вдруг странно-приподнято:

– Оттого Расея – избяная, что искони ей гореть охота!

– Охота гореть? – переспросил сумрачно-медлительный, испитого вида Лушин, огородник из-под посёлка Батраки, и нахмурился.

Загадочный человек меж тем достал из-за пазухи потёртый кожаный бумажник, бережно извлёк из него небольшую цветную репродукцию – по-видимому, из журнала. На ней – красивый замок с башней, возведённый на холме подле реки.

В первый момент Ромеев смотрел на картинку, печально улыбаясь, но вот выражение сделалось надсадно-страдальческим, на ресницах заблестела слеза.

– И чего б мне не жить там?! – вдруг проговорил отрывисто, двинул нижней челюстью, точно разжёвывая что-то невероятно жёсткое, причиняющее боль. – Но не-е-ет...

Лушин, важно-насупленный, усатый, притиснулся к Шикуну, прошептал ему в ухо:

– Придурошный или придуривается.

3

Утро 6 октября 1918. Состав стоит на запасном пути станции Самара. Солнечно, почти по-летнему тепло. Станция запружена добровольцами Народной Армии. Красные подступают к городу с запада, с юга, угрожая и ударом с севера. Белые начинают отход на Оренбург и на Уфу.

Гомон, суета, гудки паровозов. На перроне бабы торгуют варёной картошкой, воблой, малосольными огурцами, арбузами и другой нехитрой снедью. По двое проходят молодцы в тёмно-серых суконных френчах. Это вчерашние приказчики, лотошники, мукомолы, молотобойцы, ломовые извозчики. Сегодня они – в эсеровской дружине штаба государственной охраны. Наблюдает за порядком, главное же: выискивают предполагаемых «переодетых комиссаров», ведущих большевицкую пропаганду. Дружинники вооружены однозарядными винтовками «Гра». Франция, где они были сняты с вооружения треть века назад и загромождали склады, сбыла их России как союзнице в войне с Германией.

Ромеев побрился, расчесал на пробор длинные сальные волосы. Пройдя через вокзал на площадь, направился к дому начальника железной дороги, теперь занятому военной контрразведкой. Хмурый дружинник с двумя гранатами на поясе, держа тяжёлую винтовку на плече, будто дубину, заступил путь, нарочито лениво (для фасону) процедил:

– Куда прёшь, как на буфет?

– Важное дело! К начальнику контрразведки.

Дружинник поставил ружьё у ноги, знаком велел Ромееву приподнять полы пиджака, похлопал по карманам штанов.

– Следуй! – двинулся сбоку от пришельца, положив левую руку ему на плечо, правой держа «Гра».

* * *

Начальника военной контрразведки Онуфриева на месте не было, и гостя привели в кабинет поручика Панкеева. До германской войны Панкеев служил секретарём суда в Пензе и, хотя потом воевал в пехоте, в армии КОМУЧа сумел устроиться в контрразведку – на передовую его больше не тянуло.

Он сидит за массивным дорогим письменным столом, взирает на стоящего мужика. Тот заговорил неожиданно грамотно, с вкрадчивыми нотками:

– С девятьсот второго, с марта месяца, и до четырнадцатого года – если угодно, извольте проверить – служил, понимаете-с, секретным агентом... Москва, Петербург... Имел восемь наградений! Одно – за подписью его высокопревосходительства господина министра... – назвал фамилию сановника, в уважительной скромности понизив голос до шёпота.

– Действительно? – поручик пренебрежительно хмыкнул, скрывая заинтересованность. – Да вы сядьте. – Кивнул на венский стул.

Гость, со значением помолчав и даже как будто собираясь кашлянуть, но не кашлянув, сел.

«Нос картофелиной, – отмечал Панкеев, – выраженные надбровные дуги. Зауряднейшая деревенская физиономия... если бы не пронизательные глаза».

Сказал скучно, как бы удостоверяя само собой разумеющееся:

– Желаете служить в контрразведке. Подтвердить награждения не можете...

– Увы-с! – пришелец рассказал, как после Октябрьского переворота скрывался от большевиков, с какими мытарствами добрался до белых.

– Но меня вполне могут тут знать, – поведал он с доверительной многозначительностью: – Вы, господин поручик, не правый эсер будете?

– В партиях не состоял и не состою! – сухо заявил Панкеев, спохватился и покраснел: он, офицер контрразведки, отвечает на вопросы какого-то субъекта. Огрубляя голос, со злостью на себя и на пришельца, спросил:

– Фамилия ваша или как там, чёрт, псевдоним?

Человек с достоинством произнёс:

– Исконная моя фамилия – фон Риббек!

Поручик воззрился на него в изумлении.

Помимо агентурного опыта, невозмутимо говорил гость, у него есть знания из книг о деле разведки и контрразведки: красные от его работы понесут страшный, невосполнимый для них урон.

– Да только, господин поручик, имеется загвоздочка: почему и спросил, не эсер ли вы... Эсеры, которые теперь у вас верховодят, могут мне за прошлое... вполне верёвку. Ведь против них работал-с. Возьмите меня служить, им не открывая. Для пользы ж дела!

Стараясь не выказать замешательства, Панкеев осторожно сказал:

– С моей стороны возражений нет. Вернётся начальник, я с ним переговорю о вас. А пока примите совет: вступайте в полк, в котором оказались. Когда вас вызовем, будет лучше, если явитесь уже солдатом.

И он написал записку командиру полка, рекомендуя принять добровольца на довольствие.

4

Ромеев в гимнастёрке из желтовато-зелёной бязи, опоясанный ремнём, лежал в теплушке на соломе. Под головой – скатка шинели. Ещё он получил медный котелок, русскую пятизарядную винтовку и два брезентовых подсумка с тридцатью патронами в каждом.

Добровольцы прогуливались вдоль состава или сидели на траве, что росла меж запасных путей, грелись на осеннем солнце. Другие отправились на привокзальную площадь.

В теплушку заглянул Лушин:

– Слышь? Ты, случаем, не хворый? А то вон амбулатория...

– Не нуждаюсь! – прорычал Ромеев.

Подошедший Шикунов благожелательно заметил:

– А на воздухе-то привольно... Вышли бы.

Лушин добавил, что на перроне из-под полы торгуют самогонкой. Ребята пошли: сейчас принесут «баночку».

Преданно сидя возле своего спасителя, Сизорин просяще потянул:

– Выходи, а? Дядя Володя... – Ему было неловко назвать сорокалетнего человека просто Володей.

Тот порывисто встал, выпрыгнул из теплушки.

– Ну ш-што они там мудрят?! Мне же работать надо, работать, работать!

Добровольцы переглянулись. Ромеев заговорил со злым возбуждением: да, он может с ними в пехоте быть, пожалуйста. Но большевицкие шпики – они ж кругом! Скольких он мог бы зацапать: с его опытом, с его «тонкостью». Для того и пробирался к белым, чтобы в контрразведке служить!

Лушин, не любящий тех, кто пренебрегает возможностью выпить, услышав к тому же, по его мнению, глупость, изобразил человека, который не позволяет себе насмешки, но удивлён безмерно:

– Чего они тут делают, шпики? Бомбу в вагон кинут? Не слышно было такого.

– А если они агитируют, – наставительно и, как всегда, приветливо произнёс Шикунов, – то дружина их берёт и в момент – за пакгаузы. Готово! На рассвете расстреляли двоих. Я ходил поглядеть: лежат.

Ромеев вскинулся в страстном негодовании:

– Кокнули невинных, вполне могу сказать! Видал я дружинников этих. Ни в коей степени они подлинных лазутчиков не раскусят. А что те здесь делают – скажу...

В Самаре скопились основные силы КОМУЧа, недавно передавшего власть Уфимской Директории. Отсюда эшелоны отходят по двум направлениям: на юго-восток, к Оренбургу, и на восток, к Уфе. Задача большевицкой разведки: узнать, куда больше войск отправляют? Если, скажем, на Уфу, то красные свои главные силы бросят на Оренбург, где белые слабее. Разобьют, а затем навалятся и на уфимскую группировку.

Ещё очень важно, до какой станции следуют эшелоны. Если до Кротовки – до неё три часа езды, – то узел обороны будет там. Чтобы её взять, красным придётся подготовиться, подтянуть новые войска. Если же эшелоны идут до Бугуруслана, то на расстоянии в двести верст до него серьёзной обороны белые не готовят. И, значит, большевики станут наступать ускоренно, не снимая частей с других участков.

– Вы через неделю-две, к примеру, вступите в бой. Будете драться – храбрей некуда. Но судьба боя уже сегодня решается, здесь! – Ромеев показал на составы, занявшие все пути, на толпящихся военных и разношёрстный люд.

Быбин закреплял пуговицу на запасной нижней рубахе. Откусывая нитку, степенно заметил:

– Неуж в нашей контрразведке про то не знают?

– Оно, конечно, как не знать, раз они – офицеры... – нервно поморщился Ромеев. – Но надо ещё лазутчика выследить! Кто на это годен – более меня?

5

Посетитель заинтриговал Панкеева. Вспомнилось, что недавно к ним в контрразведку обращался за вспомоществованием внушительного облика старик по фамилии Винноцветов – в прошлом один из высших чинов политического сыска. Бежав из Москвы от большевиков, он прозябал в Самаре в плохонькой гостинице рядом с вокзалом. Поручик послал за ним...

Винноцветов, огромный обрюзгший, лет шестидесяти пяти господин с седыми «английскими» полубаками, грузно, сдерживая кряхтенье, опустил в кресло.

– Фон Риббек, говорите? – в приятной задумчивости улыбнулся, вспоминая, потирая оживлённо белые руки с отечными пальцами. – Это, знаете, хо-хо-хо, фигура! – и вкусно причмокнул, как гурман, толкующий об изысканном блюде. – Разгром эсеровской партии в девятьсот шестом-седьмом – какую он здесь сыграл роль! Его заслугу трудно преувеличить. Талант бесподобнейший!

– И... – Панкеев подавлял нетерпение, но любопытство прорвалось: – он что же... в самом деле – «фон»?

Винноцветов одышливо захохотал, на морщинистом лице проступили налитые кровью прожилки.

– Барон, а? Не правда ли, курьёзно, кхе-кхе?.. – поперхав, перевёл дух. – Было доподлинно известно лишь, что его мать взаправду носила фамилию Риббек. В Москве, на Стромынке, держала дом терпимости – из дорогих. И имела авантюрную, романическую интригу со взломщиком – несомненно, русских кровей. Сия пара произвела на свет нашего с вами знакомого.

– Числился он Ромеевым – уж и не знаю, откуда взялась эта фамилия, – рассказывал Винноцветов. – Одна из кличек была – «Володя». Поскольку он обожал разглагольствовать о своём «благородно-германском» происхождении, ему у нас дали, по созвучию с Риббеком, и кличку «Рыбак». Но, по его мнению, слово «Рыбак» чересчур походит на «Риббек» и своим прозаическим смыслом, г-хм, оскорбляет «родовое имя». Характер-с! Настоял, чтобы «Рыбака» заменили на «Рыбаря».

– Экий формалист! – рассмеялся Панкеев, захваченный историей.

Рассказ продолжился:

– В одну зимнюю ночь – не без помощи, надо думать, конкурентов – дом госпожи, г-хм, с вашего позволения, «фон Риббек» запылал. Дама самоотверженно боролась с пожаром, простудилась, слегла и вскоре приказала долго жить.

– Володе (если его в то время звали Володей), – оговорился рассказчик, – было лет двенадцать, он пребывал в приличном пансионе. Его родитель, как оказалось, не чуждый мыслям о сыне, забрал его оттуда, стал держать при себе, а на время наиболее многотрудных передрыг пристраивал у каких-то знакомых. И довелось отроку, после латыни, после уроков всемирной истории, получать уроки уголовного дна...

– Однажды его отца смертельно изранили свои же уголовники, – сообщил престарелый господин. – Володя, уже юноша, выслушал, по его словам, от умирающего родителя заповедь. Это нечто романтически-революционное – не знаю уж, в чьём духе: Гюго или Леонида Андреева. «Сынок, – молвил коснеющими устами отец, – твоя мать погибла от рук тех, кто занимался одним с ней делом, и то же самое относится ко мне. Потому бесстрашно и беспощадно, до последнего издыхания, мсти всем преступникам! Просись на службу в сыск!»

Рассказчик чуть кашлянул и улыбнулся.

– Так наш друг стал агентом московского сыска. Позже упросил «поставить» его «на политических» – тут его дарования и развернулись...

– Упоминал о восьми награждениях, – вставил Панкеев.

– Не врёт! – подтвердил Винноцветов. – А сверзился он из-за гордости. Я получил новое назначение, а на моё место заступило лицо со связями, но знаний и способностей недостаточных. И, как водится, первую же свою ошибку прикрыло тем, что спихнуло вину на нижестоящих, в том числе, на Рыбаря. На него наложили взыскание, но виновный начальник позаботился, чтобы обиженный агент получил двойное месячное жалованье. Проглоти пилюлю с сахаром и будь доволен! Такое было всегда и всегда будет.

Отставной чин поиграл пухлыми пальцами.

– Но наш друг горд, как истинный, кха-кха, барон Вольдемар фон Риббек. Подал на высочайшее имя челобитную с описанием просчётов начальства, не забыл указать на собственные заслуги, да ещё и предложил рекомендации... Разумеется, вылетел с треском.

Винноцветов закончил рассказ размышлением:

– Поменялось многое... и, тем не менее: простят ли его эсеры? Партийные амбиции, к несчастью, продолжают торжествовать. Весьма будет жаль, коли повесят. Донельзя глупейший конец для столь замечательного лица.

6

Добровольцы сидели на траве, рядом вдоль вагона, ели из котелков кашу. Обед. До каши выпили самогонки. Лушин захмелел, лицо стало одновременно и бестолковым, и озабоченным. То и дело вперял взгляд в Ромеева. Наконец сказал:

– Я давеча с ротным со... беседовал. Его вызывали в штаб полка. Насчёт... этого... тебя.

Ромеев перестал есть, в ожидании молчал, не глядя на говорившего. Тот рассудительно поделился:

– Я думал: упредить, нет? – показал ложкой на Сизорина: – Вот он – безотцовщина. Ты его от смерти увёл! Я со... сострадаю. А то б не упреждал.

– И что ротному в штабе сказали? – спросил Шикунов.

– Нехорошее, – Лушин увидел в ложке с кашей кусочек варёного сала и с удовольствием отправил в рот. – Заарестовать могут его, – кивнул на Ромеева.

Еда заканчивалась в молчании. Сизорин сидел сбоку от своего спасителя, посматривал на него страдальчески, точно на умирающего в мучениях раненого, прижимал локоть к его локтю.

Шикунов, упорно называвший Володю на «вы», обратился к нему:

– Вы бы разъяснили нам...

В ответ раздалось:

– Чо долго суп разливать? Дела старые. Но сейчас всё по-другому! Как мне ещё молиться, чтоб дали поработать, а уж после считались?

Было решено послать в штаб Быбина. Ему там доверяют: расскажут...

Ромеев лег навзничь прямо на тропинке меж запасных путей. Чтобы его не тревожили, Сизорин встал подле. Солдаты из других вагонов обходили лежащего, не придираясь, не задавая вопросов; понимали: без причины никто эдак не ляжет. А причина сама разъяснится.

Вернулся замкнуто-напряжённый Быбин, не спеша полез в теплушку. Остальные последовали за ним. Быбин, никому не отвечая, дождался Ромеева и как бы выговорил ему:

– В прежнее время ты каких-то эсеров под казнь подвёл? Ожидают самого Роговского. Он под Самарой, с проверкой. Начальник высокий. Прибудет, ему скажут, и он, надо понимать, велит тебя накрыть. Ротный поведёт в штаб: вроде б, чтоб ты рассказал, как вы с Сизориным от красных ушли. А в штабе будут наготове...

Добровольцы дружественно теснились вокруг Володи. Чувствовали: с ними не ловчит. За сутки, что он провёл среди них, ощутили: не корысть заставляет его так переживать. А что чья-то смерть на нём – теперь такое не в диковинку.

– Делов тобой, кажись, наделано, – снисходительно упрекнул его Быбин. – Но ты это прекратил – взялся красных убивать. Нам польза. Вот и начальник штаба говорит: нашли, когда мстить. Не нравится ему это. И правильно.

Кругом взволновались: а то нет?! Человек сам пришёл, сам открылся – и нате!..

Шикунов предложил Володе:

– Вам бы скрыться...

Это подхватили.

– Печалуюсь я... – Ромеев произнёс слово «печалуюсь» с таким горьким, болезненным выражением, с каким мужик говорит об утрате коня. – Об одном-единем печалуюсь: шпионам полная воля и возможность!

Выдохнул жарко:

– Желаете, докажу? Всё равно ж на месте сидите.

7

Пойти с Володей решил человек семь-восемь. Он оправил гимнастёрку, прихватил винтовку – солдат, каких масса вокруг.

На станции Самара – шесть платформ, откуда то и дело отходят составы с войсками. Около часа Ромеев и его команда ходили в толчее по платформам. Кое-кому это наскучило, с Володей остались четверо. Его шёпот заставил их замереть:

– Определённо! – отчётливо и непонятно прошептал он, указал взглядом на высокую миловидную барышню в шляпке с вуалью, в перчатках. Она спрашивала офицера, какой полк погрузился в эшелон, куда следует. Ей нужно – объяснила – разыскать прапорщика Черноярова.

Молодой офицер любезен. Хорошенькой незнакомке так приятно угодить! Мадмуазель не знает, в каком полку служит прапорщик Чернояров?

– Ах... я не разбираюсь... кажется, в Шестом...

Офицер улыбается: разумеется, мадмуазель и должна быть беспомощной в подобных вопросах.

– Шестой Сызранский сегодня уже отправлен в оренбургском направлении.

О, как жаль! Барышня расстроена. Прощается. Пошла.

Ромеев «отпустил» её шагов на пятнадцать, неторопливо двинулся следом; спутники – за ним. Она, обронил негромко, уже им попадалась: на второй платформе и на четвёртой.

– Правильно, – подтвердил Быбин, – припоминаю.

Лушин с недоверчивостью возразил:

– Барышень тут немало.

– Ну, я-то не спутаю! – обрезал его Ромеев. Доказывал вполголоса: – Зачем ей: что за часть? куда? Офицерики рады потоковать: тетер-рева! И не вдарит в башку: не знаешь, в каком полку служит, чего ж спрашивать – какой полк грузится да куда едет? Мокрогубые! По виду, по обхождению, она – ихняя. Каждый представляет свою: эдак, мол, и его бы искала. С того языком чешут.

– В дружину сдать бы... – заметил Шикунув.

Володя оборвал:

– Погодь! Я взялся доказать – и я вам докажу безупречно! Не её одну подсёк. Ещё «лапоть» один тыкался...

Послал Сизорина приглядывать за барышней, с остальными поднырнул под стоящие поезда. Вышли на третью платформу, потолкались.

– Вот он! – бросил Ромеев. – Подходим неприметно, порознь.

* * *

Пожилый бородатый мужичонка в лаптях, с набитой кошёлкой, маячил перед составом, на который погрузили 48-линейные гаубицы и упряжных лошадей. Подойдя к субтильному курносому юнкеру не старше восемнадцати, спросил:

– Господин, это будет не Пятый ли полк?

– Нет.

– Сынок у меня в Пятом Сызранском. По своей охоте пошёл! А я на работах был в Мелекесе, не привелось и проститься. А добрые люди скажи: в Самаре ещё Пятый-то. Привёз, чего старуха собрала...

– Пятый Сызранский полк – во Второй дивизии, – сухо сообщил юнкер.

– А это какая?

– Другая.

– На Уфу едете? Я чего спрашиваю-то. Охота, чтоб сынку выпало – на Уфу. Там места больно хлебные. И коровьим маслом заелись. Вам, стало быть, туда? Счастье, коли так...

Юнкер важно прервал:

– Вы рискуете жизнью! – ему впервые выпал случай «сделать внушение». – Вы – в расположении Действующей Армии, здесь нельзя вести расспросы! Приехали к сыну, а ни его не увидите, ни домой не вернётесь. Вас могут р-р-расстрелять на месте!

– Спаси, Святители... – мужичонка низко поклонился; крестясь, засеменял прочь.

Ромеев послал Шикунова следить за ним. Пояснил: для «полного букета» надо еще «мальца» посмотреть – давеча приметил. Должен где-то здесь крутиться.

«Мальца» нашли на шестой платформе. По виду – уличный пацан лет четырнадцати. Переминаясь с ноги на ногу, разговаривал с добровольцем, на котором военная форма висела мешком. Лет около тридцати, с интеллигентным лицом, в пенсне – по-видимому, учитель. Парнишка спрашивал его, указывая на эшелон с пехотой:

– Дяденька, это на Уфу? Я батю ищу! Сказывали – его на Уфу. Какой полк-то? Мой батя в Сызранском...

Доброволец вежливо ответил: полк – Седьмой Хвалынский, следует в сторону Оренбурга.

– Не до Павловки? Сказывали, там биться насмерть будут. За батю боязно. Мать хвора лежит, какой день не встаёт...

На плечо мальчишки легла рука Ромеева.

– Здорово, Митрий!

– Ванька я, – зорко взгляделся в незнакомого военного.

– Отец, говоришь, следует на Уфу? А сам боишься, что его убьют под Павловкой. Направления-то разные.

У паренька в руке – бумажный свёрточек. Протянул:

– Крестик серебряный на гайтане. С иконкой! Святой Михаил Архангел! Мать наказала отца найти – передать...

– Идём к отцу! Ждёт, говорю! – Ромеев взял пацана за запястье. Сообщил добровольцу: – Украл крестик только что. У контуженого взял обманом.

Солдат в пенсне остался стоять – с выражением растерянного недоверия.

Мальчишка пронзительно вскричал:

– Люди добрые! Караул!! – тут же смолк от жгучей боли в руке.

– Сломаю грабельку! – раздалось над ухом.

Быстро шли сквозь толпу.

– Воришка это! Воришка! – внушительно охлаждал Быбин тех, кто порывался вступить. Ромеев велел ему отвести «шкета» к багажному помещению вокзала, ждать там. Лушина послал найти Шикунова: вдвоём они должны взять «лаптя», тоже доставить к багажному.

– Я туда же бабёнку приведу! – шепнул Володя, побежал.

* * *

От багажного вели троих. Хорошо одетая барышня возмущалась:

– Позовите офицера! Это – своеволие пьяных!

Мужичонка в лаптях молился вслух. Паренёк помалкивал. Спутники Ромеева с винтовками наперевес окружали группку, сам он шёл впереди с наганом в руке, покрикивал:

– В сторонку! Контрразведка!

Из вокзала запасным ходом вышли на мощёную площадку. От неё начинались тянувшиеся вдоль железнодорожного пути пакгаузы, сколоченные из пропитанных креозотом балок, обращённые дверьми к поездам. Позади пакгаузов неширокой полосой протянулся замусоренный пустырь. Железная решётка отгораживала его от палисадника и городских строений. На пустыре никогда не высыхали зловонные лужи, попадались трупы кошек, собак. Небольшая его часть посыпана песком. На нём темнеют круги запёкшейся крови. Одни чернее: кровь уже гниёт. Другие – свежие.

– Двоих нонешних убрали, – сказал Шикунов, и все пришедшие посмотрели на стену пакгауза, густо испещрённую отверстиями: множество пуль глубоко ушло в толстые твёрдые балки.

– Опомнитесь! Образумьтесь! – страстно убеждала барышня, сжимая кулаки в перчатках, вздымая их перед лицом. – Мой отец – большой начальник, глава земской управы! Вас неминуемо накажут, неминуемо...

«Лапоть» заорал неожиданно зычно:

– Православные, покличьте начальство! – он обращался к зрителям, что скапливались за оградой в палисаднике. К расстрелам привыкали, публика уже не валила – собиралась неспешно.

– У меня сын в Народной Армии, сын свою кровь льёт! – мужичонка бросил кошёлку наземь, крестясь, упал на колени: – А эти меня убивают...

Ромеев подмигнул Быбину, Шикуну, рывкнул на барышню и мужика:

– Тихо, вы! С вами разберёмся. Но этого... – рванулся к парнишке, – мы сей момент... шпиона!

– Ничем не виновный я! Сжа-альтесь!

– Говоришь, крестик на гайтане... а?! Мать наказала отцу передать... а?! А чего ж сама, когда его провожала, не навесила ему гайтан?

– Отец в прошлом годе ушёл от нас, – плача кричал мальчишка, – мать хворающая лежит...

– Год, как ушёл, а откуда ж ты знаешь, в какой он полк поступил?

– От людей! Мы про него всё зна-ам...

– На слезу бьёшь! – рычал Ромеев. – Мать хворающая лежит, отец вас бросил... она его всё одно жалеет, гайтан передаёт... Определённо – на слезу! Под этим видом выманиваешь о войсках, шпионишь. – Потацил визжащего к стенке.

– Дяденька, не на-адо! А-аай, не на-адо!!

– Умр-р-ри-и! – Володя прицелился из нагана.

– Стой, скажу! дай сказать... – мальчишка протянул руки, – вон она, – показал на барышню, – Антонина Алексевна: её слушаюсь! А этот – вишь, оделся! А то был в пинжаке, в сапогах...

Ромеев опустил револьвер, левую руку положил «мальцу» на голову.

– Не ври мне только. Где встречаетесь?

– На Шихобаловской, в прачечной у китайца. Линьтя – его зовут. Дразнят: дядя Лентяй. А велено его звать: Леонтьев. Она – главнее. Меж собой её зовут: товарищ Антон. А этот – он недавно прибыл. Его зовут Староста.

* * *

Быбин и Шикун, переглянувшись, потрясённо молчали, держа винтовки так, точно вот-вот на них нападут. Они доверяли Ромееву, но что задержали троих не зря – в это верили не до конца.

И вдруг – эти слова «шкета»...

– Ложь! Мерзкая ложь! – остервенело кричала барышня: в голосе звенела сталь.

«Лапоть» завывал:

– Оговорил, беда-аа...

Лушин пихнул его прикладом в живот, левой рукой толкнул так, что мужичонка, отлетев, упал набок.

Ромеев спросил мальчишку:

– Разведку собранную они как отсылают? Не с голубями?

– С голубями! Пацан, постарше меня, с отцом занимаются. Отца по-чудному зовут – Алебастрыч. На Садовой, у Земской больницы живут.

– Срочно надо в контрразведку, – с затаённым – от ошеломления – дыханием, со странно-умилённым видом выговорил Шикун. – Это целое подполье работает...

Задержанных повели. Женщина, охрипнув, со слезами ненависти выкрикивала:

– Вы неминуемо заплатите! За меня есть кому вступиться...

8

Как только вошли в кабинет Панкеева, барышня бросилась к нему, заламывая руки:

– Господин офицер! Мой отец – председатель земской управы!.. в Новоузенске... расстрелян красными! Мы с мамой спаслись в Самару, я ищу моего жениха – прапорщика Черногова, он в Народной Армии с первого дня...

Привлекательная внешность незнакомки, её слова о папе, её слезы заставили Панкеева предупредительно вскочить, усадить мадмуазель в кресло. Он налил ей из графина воды, стал со строгостью слушать Ромеева, Быбина, Шикунова... Он понимал – разведчики могут изощёрённо маскироваться, и, тем не менее, то, что эта барышня – большевицкая разведчица, в первые минуты представлялось неправдоподобным.

Да и вообще невероятно: человек, пусть в прошлом и даровитый агент сыска, едва оказался на станции, как тут же сразу поймал трёх лазутчиков.

Вероятнее было, что сметливый, ловкий тип на этот раз прибегнул к трюку, чтобы отличиться и застраховать себя от мести эсеров: вбил солдатам-пентюхам, что эти трое – шпионы.

Панкеев неприязненно бросил Володе:

– Нам о вас уже всё известно! Человек вы, кажется, неглупый. Но, – засмеялся издевательски, – не там ищите дурее себя. Не там!

– Господин поручик, не об нём разговор! – вмешался Быбин. – Вы этих проверьте.

Барышня, обежав огромный письменный стол, за которым сидел офицер, пригнулась за его спиной, будто на неё вот-вот набросятся и растерзают, – зарыдала, захлёбываясь:

– Я ни в чём не виновна! Мне к... генералу! Я обращаюсь... Папа расстрелян красной сволочью...

Напирал на поручика и «лапоть», выкладывая из кошёлки на стол каравай хлеба, шмат жёлтого сала, глаженные портянки:

– Извольте проверьте! Сын у меня доброволец! Сыну привёз... со всей душой против красных, а меня виноватят...

– Ладно! – раздражённо остановил Панкеев.

Шикунов, доброжелательно улыбаясь, негромко, но настойчиво высказал:

– Пареньку бы сделать допрос.

Мальчишка, бледный, заплаканный, стоял напротив стола, впивался взглядом в лица барышни, Ромеева, офицера.

– Напугали тебя? – спросил Панкеев.

– Мало что не убили, – вставил мужик.

Панкеев с начальственной благосклонностью уведомил подростка:

– Бояться не надо. Если ни в чём не замешан, тебя не накажут.

– Конечно, не замешан, господин офицер! – вскричала барышня, глядя в глаза пареньку.

Поручик счёл необходимым прикрикнуть:

– Пра-ашу не вмешиваться! – и обратился к мальчишке: – Повтори всё, что ты давеча рассказал.

Тот протянул серебряный крестик и образок на плетёном шнурке.

– Мать наказала гайтан отцу передать... Сказывали, отец в Сызранском полку...

– О знакомстве с этими двумя людьми повтори! – потребовал офицер. – Что ты рассказывал о месте встречи, о китайце?

Мальчишка заревел:

– У-уу! Не убивайте... со страху вра-ал...

Кто-то из солдат фыркнул:

– Ну-ну...

– Со страху так не врут! С именами, с кличками: и всё – в один момент! – заявил в упрямой убеждённости Быбин. – Не-ет. Вы его без них допросите. И агентов с ним пошлите к китайцу, к голубятникам.

– Учить меня не надо! – перебил Панкеев, понимая с обидой, что не мог бы придумать ничего умнее предложенного солдатом.

Опять кричала барышня: о расстрелянном красными отце, о том, что пожалуется генералу. «Лапоть» упорно толковал о сыне, который «по своей охоте против красных пошёл». Шикунов, Лушин поддерживали Быбина. Сизорин пытался что-то сказать в защиту «дяди Володи». А тот – весь подобранный, с потным лицом – стоял недвижно, следил за офицером, как невооружённый человек, встретив в лесу волка, следит за ним: кинется или зарысит своей дорогой?

Панкеев, чей взгляд на дело изменился, приказал всем выйти в коридор, оставив Ромеева. Поручику весьма не понравилось, как барышня смотрела в глаза мальчишке, крича, что он ни в чём не замешан: словно внушала. Не верилось, что тот со страху выдумал про китайца, голубей, сочинил клички. Замечание Быбина на этот счет было неопровержимо. Подозрительным казался и мужичонка в лаптях: чересчур складно, прямо-таки заученно, твердил о сыне – и чересчур смело.

Этими тремя следовало заняться.

Но... всё меняла личность Ромеева. Что если начальствующие эсеры набросятся на него, своего давнего ненавистного врага? А трое... разумеется, невиновны! – раз их обвиняет Ромеев.

Поручик сказал ему доверительно:

– Каждую минуту ожидаем Роговского. К пакгаузам сведут вас! Понимаете? Или повесят, на водокачке.

У Володи сузились зрачки:

– У вас одни эсеры верховодят? А офицеры? Неуж не вникнут, что я – нужный, не отстоят меня?! Я ж к вам с этой надеждой пробирался...

– Здесь, в городе, власть у эсеров, – в словах Панкеева прозвучало сожаление. В душе он был кадетом, эсеров не любил, считая их утопистами, притом, кровожадными. – Тебе надо на фронт, в боевую часть, – перешёл он на «ты», – к Капелю, под Нурлат. Капель тебя не выдаст. Немедля и отправляйся.

Сказав это, удивился себе: чувствовал странную симпатию к Рыбарю. Тот горячо зашептал:

– Мне уйти – пустяк! Хоп – и нету меня! А шпионам – воля? Вы ж сами поняли их. Я вижу!

– Пойми ты меня! – так же возбуждённо заговорил Панкеев. – Арестую – а их выпустят. У меня будут большие неприятности, почему не тебя, а их схватил.

Ромеев вдруг выбросил левую руку и стал зачем-то тыкать себя в грудь указательным и средним пальцами:

– Смотрите вот, господин поручик! Смотрите! Не для себя ж я вас умоляю – в работу их взять! Вся организация ихняя будет у вас в руках. Для кого я стараюсь?! Какая мне-то прибыль?!

Офицер решил:

– Сделаем так: отведёте их к воинскому начальнику. Это за площадью. Расскажите ему всё, что и мне. Только про меня не упоминайте. Может, он их задержит. Пришлёт ко мне посыльного – а я начальству доложу о них так, чтобы ты не фигурировал. Больше ничего не могу. И давай уматывай отсюда!

* * *

Когда вышли на привокзальную площадь, Ромеев обронил:

– Сперва в ту сторону, к нужникам!

Барышня продолжала громко возмущаться, не желая идти. Володя, с револьвером в руке, встал к ней вплотную, приблизив окостеневшее в бешенстве лицо к её лицу:

– Идите!

Она отскочила и пошла. Около дощатых выбеленных известью уборных Ромеев остановил задержанных, кивнул на нужники:

– Кому не надо – не неволим, – мигнул Быбину, Шikuнову. – А мы заглянем.

Вошли в уборную, оставив с арестованными Лушина и Сизорина. Володя передал разговор с Панкеевым, с мрачной сосредоточенностью сказал:

– Воинский начальник их отпустит. Бабёнка борзая – как начнёт вопить, что в контрразведке они были и там их не задержали...

Быбин взгляделся в Ромеева:

– Ну, что надумал-то?

– Да! Именно так и нужно сделать! – непонятно, с решимостью отрубил тот. – Учёные люди обозначают: лакмусова бумажка. Иначе сказать: выйдет то, против чего и рогатый не пойдёт!

Убеждал спутников сделать по его, не расспрашивая: позже объяснит. Они, обменявшись взглядами, согласились.

Задержанных провели к поездам, двинулись вдоль пакгаузов: на этот раз мимо их дверей, обращённых к железнодорожному полотну. Шли узкой полосой: слева – двери, справа – рельсы, по которым проплывают паровозы, с оглушительным шипением выметывая пар, тяжело погромыхивают составы.

Володя заглядывал в отделения пакгауза, откуда уже вывезли грузы, позвал:

– Сюда!

Здесь пол толстым слоем покрывали опилки: очевидно, раньше тут хранилось что-то, содержавшееся в стеклянной таре.

Ромеев вдруг принялся заталкивать арестованных в помещение, как-то по-дурацки ухмыляясь и норовя кольнуть штыком:

– Посидите, отдохните! Пущай вас другие отсель заберут. А мы своё исполнили.

Нам по вагонам пора – уходит эшелон.

– Дуб-бина! – вырвалось у барышни.

Заперев дверь наружным засовом, Володя отвёл друзей на десяток шагов.

– Погодите – как интересно станцуется! Тогда против никто, ни в коей мере и степени, не пойдёт...

Спутники не понимали. Он веско пообещал:

– Увидите!.. А покамест, ребята, мне надо улепетнуть. Не то...

Из облака паровозного пара возникли дружинники с ружьями «Гра». Один, сегодня уже встречавшийся с Володей, упёр ствол массивной винтовки ему в живот.

– Заискались тебя. Следуй за нами!

9

В кабинете начальника военной контрразведки Онуфриева густо пахло воском. Хотя с часу на час ожидалась эвакуация, привычные к делу служители, много лет наводившие чистоту в здании, натёрли паркетные полы до блеска.

Приземистый, с жирным загривком Онуфриев беспокойно прохаживался позади письменного стола, чутко поглядывая на господина, что сидел на кожаном диване у стены. Господин был приятной наружности, с твёрдой линией рта. Одет во френч и галифе защитного цвета, обут в щегольские шевровые сапоги; нога закинута на ногу. Это Евгений Роговский – министр государственной охраны КОМУЧа: антибольшевицкого правительства, сформированного эсерами в Самаре.

Из приёмной донеслись шаги, три дружинника – двое по бокам, один сзади – ввели Володю. Лицо Роговского – пожалуй, излишне подвижное для человека власти – выразило ужас. С выпукло-суровым трагизмом прозвучало:

– Я узнаю его! – министр указал взглядом на пространство перед собой: – Поставьте его здесь!

Опытный боевик и конспиратор в прошлом, человек внутренне довольно холодный, Роговский имел склонность к актёрству.

Когда дружинники исполнили его приказание, он, продолжая сидеть на диване, аффективно разъярился, вскинув подбородок и «прожигая» задержанного взглядом:

– Какую теперь носите личину? Клявлин Кузьма Никанорович, из крестьян, – отчеканил, демонстрируя памятьливость на легенду, с которой когда-то предстал перед ним агент. – По наущению сельских богатеев, был подожжён ваш амбар – мать погибла на пожаре. Вскоре мироеды свели в могилу и отца. Вы, обездоленный сирота, мыкали горе, пока вам не открылся смысл слов: «В борьбе обретёшь ты право своё!»

И тогда вы пришли к нам, к эсерам. Просились в Боевую Организацию. Вас приняли как брата...

Я отчётливо помню январь девятьсот пятого, нашу встречу в Вырице. Я проговорил с вами всю ночь. Вы представлялись мне одним из лучших в группе Новоженина – в самой опытной, в самой сильной из наших групп!

Вы выдали её... Вы провалили москвичей, киевлян...

– Казанских товарищей добавьте, – со странной улыбкой сказал Ромеев. – И то будет не всё. Ржшепицкого с пятью боевиками в Воронеже взяли – тоже благодаря мне. А склад пироксилина в Таганроге, в самую решающую для вас минуту, полиция открыла – моя заслуга!

Роговский задержал дыхание:

– Подозрение тогда пало на Струмилина...

– Как же-с. От меня оно и пошло. Я «улики» дал. Проглядели тогда, Евгений Францевич? – спокойно говорил бывший агент, стоя с заведёнными назад руками.

– Над Струмилиным был исполнен наш приговор... – вырвалось у поражённого Роговского.

Задержанный насмешливо, свысока бросил:

– А кто вам велел хапать наживку? Взялась шука карасей глотать, умей и леску увидеть.

– Вы что себе позволяете? – вмешался Онуфриев. Он с ушлой цепкостью следил за встречей, выбирая момент, чтобы выгодно показать себя перед эсеровским руководством.

В германскую войну полковник Онуфриев был в тылу, командовал гарнизоном крепости в Туркестане. Октябрьский переворот лишил службы, лишил жалования, на которое жили он с женой и четверо детей. Выступление чехословаков против красных в конце мая 1918

застало полковника в Самаре. Ему посчастливилось получить место начальника наспех созданной белыми контрразведки. Новой службой он не «горел». Главное: обеспечить семью. Все его старания направлялись на то, чтобы не вызвать недовольства вышестоящих лиц, не потерять должность.

* * *

– Потрудитесь держать себя в рамках! – адресуясь к Ромееву, рассерженным гулким басом крикнул полковник; сытое, с увесистыми брылями лицо набрякло гневом, распекать он умел.

Роговский был в бешенстве и в растерянности от того, что сказал ему бывший агент сыска, и взглянул на полковника с благодарностью. Тот своим вмешательством помог ему не сорваться на проклятия, отчего в выигрыше оказался бы Ромеев. Министр подавил позыв вскочить с дивана и с пафосом обратился к Онуфриеву:

– Вы наблюдаете, Василий Ильич, одно из порождений мерзостного дна расейской жизни. То, что может показаться смелостью, – всего лишь безудержное нахальство естественного, так сказать, органического хама. Его дерзость – только привычная роль, не играть которую он не может, потому что ничего другого у него попросту нет. Под этой личиной прячется существо, готовое за мзду вылизать чужой плевком! Алчность его такова, что порой заглушает в нём инстинкт самосохранения. Я уверен, он сейчас не думает о том, что его ждёт казнь. Он озабочен тем, как бы набить себе цену и продать нам подороже свои агентурные возможности.

Роговский смерил Володю взглядом, о каких говорят: полон высокомерной злобы и отвращения.

– Он уверен, что в силу кровавой, пока неудачной для нас войны мы не разрешим себе отказаться от его услуг, не позволим роскоши расплатиться с ним...

– Вероятно, – Евгений Францевич, некрасиво скашивая рот, усмехнулся, – теперь он уже понимает свой роковой просчёт... Сейчас вы увидите, – адресовался к Онуфриеву, – преобразование подлеца. Слезы искреннейшего раскаянья, мольбы...

Володя прервал:

– Не дожидаться! – его голос стал въедливо-скрипучим: – Никому не дожидаться, чтобы Ромеев фон Риббек, – выговорил чётко, с нажимом, – перед кем-то склонялся!

Дружинники схватили его за руки, он, не вырываясь, смотрел то на полковника, то на сидящего на диване.

– Моей матери, чтоб прожить, пришлось публичный дом содержать... Отец мой – убийца сиречь убийца! Но мой род – не со дна-ааа! – протянул «а» экзальтированно, точно в религиозном воодушевлении. – Род мой – издалё-о-ока!

Он пытался запустить руку во внутренний карман пиджака, дружинники не давали. Наконец один, поймав кивок Роговского, полез сам Володе за пазуху, достал бумажник, раскрыл – на пол полетела журнальная картинка с видом живописного замка. Парень, подняв её, подал министру.

– Вот в таком поместье родительском, в Германии, моя мать родилась... – с надрывом проговорил Ромеев, он так и тянулся к картинке. – Козни боковой родни – не теперь про них разъяснять – довели до того, что мать не получила наследства, отправлена была в Россию и, ради куска хлеба, должна была прибегнуть к нечистому промыслу...

Человек тряхнул головой.

– Погибла она по правде-истине оттого, что спасала от пожара – но не амбар, а дом!

– Про отца поясню также... – отдельно произнёс он. – Мой отец Андрей Сидорович, приёмный сын чиновника Ромеева, несмотря на добро и ласку приютивших людей, стал гра-

бителем. Как тому должно было быть, в одну из ночей от своих же воров получил смертельные раны ножом...

– При таких жизненных оборотах, милостивый Евгений Францевич, – всеми силами старался не сорваться на крик Володя, – вы знаете, не мог я не жить в полной и доскональной обиде – но на кого-с? Будь я привычный вам расейский обиженный человечек, то взаправду пришёл бы к эсерам с мстительной жаждой – подрубить столпы отринувшего общества, убивать министров, губернаторов...

Тем более, вы знаете, можно было б не в метальщики бомб, а в сигнальщики пристроиться и вполне уцелеть после акта, и в радостях потом себе не отказать: партия-то была при деньгах несчитанных...

– Но я, – надменно произнёс Ромеев, – человек прирождённо не привычный!

10

Роговский едко улыбался. Он как бы «угощал» Онуфриева «фон Риббеком». Полковник стоял у стола сбоку, то почтительно взглядывая на министра, то – уничтожающе – на речистого арестанта.

– Я не к царю, не к обществу, – говорил тот, произнося слова «царь» и «общество» с неопишым пренебрежением, – я к Создателю обратил мои вопросы обиды! Ты меня, спросил я Создателя, – наказал?

– И какой же вы услышали ответ? – ядовито зацепил Евгений Францевич.

– Я услышал – не буду сейчас всего поминать, – но через мои же мысли услышал: если я такой, какой я есть – с умом, с ловкостью, с богатыми чувствами, – и это всё понимаю – то уже по тому видно, что никак я Создателем не обижен, а щедро оделён. И спасибо Ему должен сказать!

Володя понизил голос до шёпота:

– Это моё спасибо Ему я повторять не устаю...

Вскинув голову, заговорил с прорывающейся страстью:

– Почему послан я родиться в России – мыкать горе, терпеть от злобы и от низости? Не позволю Создатель соделаться козням против моей матери, рос бы я в богатом поместье германским барином. Хлебал бы суп из ягнёнка позолоченной ложкой...

– Супы из ягнёнка, господин фон Риббек, – с издёвкой перебил Роговский, – не числятся среди любимых блюд германских дворян!

Ромеев густо покраснел, нос, формой напоминавший картофелину, покрылся каплями пота. Роговский злорадно любовался сконфуженностью врага, один из дружинников издал горловой смешок.

– Ну... чего бы ни ел я, – потупившись, выдохнул Володя, – а рос бы в процветании...

Уверенность к нему тут же возвратилась:

– И какой был бы от моего процветания интерес для Творца? Гораздо интереснее Ему и важнее, чтобы я существовал в России, так как нет во Вселенной другой страны, какая была б Ему интересна, как важна и интересна Ему Россия!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.